

Вениамин
Каверин

**ДВА
КАПИТАНА**



• ПРОСПЕКТ •

Вениамин Каверин

Два капитана

«Проспект»

Каверин В. А.

Два капитана / В. А. Каверин — «Проспект»,

ISBN 978-5-39-210167-2

Главный герой романа Саня Григорьев волей случая оказывается вовлеченным в запутанную историю, связанную с исчезновением экспедиции капитана Татаринова. Долгие годы Саня пытается доказать, что истинный виновник гибели полярников вовсе не сам капитан, а его родной брат, отвечавший за экипировку и снабдивший экспедицию испорченным снаряжением. Но у мальчика нет для этого достаточных доказательств. И, лишь став взрослым, полярный летчик Александр Григорьев находит дневники, подтверждающие невиновность Татаринова, и восстанавливает справедливость.

ISBN 978-5-39-210167-2

© Каверин В. А.

© Проспект

Содержание

ЧАСТЬ 1	7
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	13
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	20
Глава 7	22
Глава 8	24
Глава 9	26
Глава 10	29
Глава 11	31
Глава 12	33
Глава 13	35
Глава 14	39
Глава 15	43
Глава 16	45
Глава 17	47
Глава 18	49
ЧАСТЬ 2	51
Глава 1	51
Глава 2	53
Глава 3	55
Глава 4	58
Глава 5	61
Глава 6	65
Глава 7	67
Глава 8	70
Глава 9	72
Глава 10	76
Глава 11	79
Глава 12	82
Глава 13	85
Глава 14	87
ЧАСТЬ 3	91
Глава 1	91
Глава 2	93
Глава 3	96
Глава 4	99
Глава 5	101
Глава 6	103
Глава 7	106
Глава 8	110
Глава 9	113
Глава 10	115
Глава 11	118

Глава 12	121
Глава 13	125
Конец ознакомительного фрагмента.	126

Вениамин Александрович Каверин

Два капитана



[битая ссылка] ebooks@prospekt.org

ЧАСТЬ 1 ДЕТСТВО

Глава 1 ПИСЬМО. ЗА ГОЛУБЫМ РАКОМ

Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесённые забором. Двор стоял у самой реки, и по вёснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона. Он лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца, ещё совсем молодой, белокурый, в форменной тужурке с блестящими пуговицами: должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом.

Сумку отобрал городской, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тётя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно заперлась. Каждый вечер тётя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда всему двору. Это было так интересно, что даже старухи, ходившие к Сковородникову играть в «козла», бросали карты и присоединялись к нам. Одно из этих писем тётя Даша читала чаще других – так часто, что в конце концов я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я ещё помню его от первого до последнего слова.

«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!

Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеюсь вскоре увидеться с Вами, не буду рассказывать о нашем тяжёлом путешествии на Землю Франца-Иосифа по пловучим льдам. Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) добрался до мыса Флора. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть об этом, так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после которой останется только уповать на милосердие божие, а как я буду жить без ног – не знаю. Но вот что я должен сообщить Вам: «Св. Мария» замёрзла ещё в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Когда мы ушли, шхуна находилась на широте 82°55'. Она стоит спокойно среди ледяного поля, или, вернее, стояла с осени 1913 года до моего ухода. Может быть, она освободится и в этом году, но, по моему мнению, вероятнее, что в будущем, когда она будет приблизительно в том месте, где освободился «Фрам». Провизии у оставшихся ещё довольно, и её хватит до октября – ноября будущего года. Во всяком случае, спешу Вас уверить, что мы покинули судно не потому, что положение его безнадежно. Конечно, я должен был выполнить предписание командира корабля, но не скрою, что оно шло навстречу моему желанию. Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь начальника Гидрографического управления и письмо для Вас. Не

рискую посылать их почтой, потому что, оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как не менее трёх месяцев я должен провести в больнице. Жду Вашего ответа.

С совершенным уважением, готовый к услугам штурман дальнего плавания.

И. Климов».

Адрес был размыт водой, но всё же видно было, что – он написан тем же твёрдым, прямым почерком на толстом пожелтевшем конверте.

Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы – каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придёт отец.

Он поздно возвращался с пристани; пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лён и хлеб, как раньше, а тяжёлые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил – грузный, коренастый, усатый, в маленькой суконной шапочке, в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка да вытирал усы. Потом он брал детей – меня и сестру – и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом, а иногда каким-то протухшим машинным маслом, и я помню, как от этого запаха мне становилось скучно.

Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лёжа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил всё, что меня окружало. Маленький, тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекою, – это наш дом. Красивая чёрная женщина с распущенными волосами, спящая на полу на двух мешках, набитых соломой, – это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из-под лоскутного одеяла, – это ноги моей сестры. Худенький чёрный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и крадучись выходит во двор, – это я.

Уже давно было выбрано подходящее место, верёвка припасена, и даже хворост сложен у Пролома; не хватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные – чёрные, зелёные, жёлтые. Эти шли на лягушек, на костёр. Но голубой рак – в этом были твёрдо убеждены все мальчишки – шёл только на гнилое мясо. Вчера наконец повезло: я стащил у матери кусок мяса и целый день держал его на солнце. Теперь оно было гнилое; чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки...

Я быстро пробежал по берегу до Пролома; здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни: на одном берегу Покровская, на другом – Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сковородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти и что он сам видел, как они перебирались на наш берег, – перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного.

Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костёр, увидел чёрную худую фигуру в проломе крепостной стены.

– Ты что здесь делаешь, шкет? – спросил чёрт, совершенно как люди.

Если бы я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся.

В эту минуту луна вышла из-за облаков, и сторож, ходивший на том берегу вокруг кожевенного склада, стал виден – большой, грузный, с винтовкой, торчавшей за спиной.

– Раков ловишь?

Он легко прыгнул вниз и присел у костра.

– Что ж ты молчишь, дурак? – спросил он сурово.

Нет, это был не чёрт! Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которой он всё время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф.

– Что ж, ты говорить со мной не хочешь, подлец? – Он ткнул меня тростью. – Ну, отвечай! Отвечай! Или...

Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал.

– Э, да ты глухонемой!

Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли.

– Прекрасный город! – сказал он с отвращением. – В каждом дворе – собаки; городские – звери. Ракеды проклятые!..

И он стал ругаться.

Если бы я знал, что произойдёт через час, я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя всё равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костёр и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный.

Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты, а потом мелькнул на том берегу и исчез.

Костёр мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натащил уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные чёрные раки, не очень крупные, – в пивной за таких платили копейку пара.

Холодный ветер начал тянуть откуда-то сзади, штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой! В последний раз была закинута верёвка с мясом, когда я увидел на том берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от неё спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре, ярко освещённом луной, но сторож почему-то на ходу снял винтовку:

– Стой!

Он не выстрелил, только щёлкнул затвором, и в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно потому, что и теперь ещё не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину: тихие берега, расширяющуюся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту две длинные тени бегущих людей.

Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, ещё тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крикнул и вдруг откинулся назад – должно быть, его ударили снизу. И он ещё висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной.

Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост: будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперёд руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда, трясаясь от страха, я подошёл к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением, и всё стало тихо.

Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке, – вот тут-то и увидел, что она пуста, и снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не случилось мне бегать с такой быстротой, даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков и растерял половину, пока добрался до дому. Но тут было не до раков!

С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали, никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения.

Ещё минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго ещё я не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, освещённый луной, и две длинные бегущие тени.

Глава 2

ОТЕЦ

Два огорчения ожидали меня на следующее утро. Во-первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для шук. Во-вторых, пропал монтёрский нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я всё перебрал и дома и во дворе – нож как сквозь землю провалился.

Так провозился я до двенадцати часов, когда нужно было идти на пристань – нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился.

Пристань теперь на другом берегу, а на этом – бульвар, засаженный липами, которые так и остались любимыми деревьями нашего города. Но в тот день, когда я нёс отцу горшок щей в узелке и картошку, на месте этого бульвара стояли балаганы, построенные для рабочих; вдоль крепостной стены были сложены пирамидами хлебные кули и мешки; широкие доски перекинута с барж на берег, и грузчики с криком: «Эй, поберегись!» – катили по ним заваленные товарами тачки. Я помню воду у пристани в жирных перламутровых пятнах, стёртые столбы, на которые набрасывались причалы, смешанный запах рыбы, смолы, рогожи.

Ещё работали, когда я пришёл. Тачка застряла между досками, и всё движение с борта на берег остановилось. Задние кричали и ругались, двое каталей лежали на ломе, стараясь поднять и поставить в колею соскользнувшую тачку. Отец неторопливо обошёл их. Он что-то сказал, наклонился... Таким я запомнил его – большим, с круглым усатым лицом, широкоплечим, легко поднимающим тяжело нагруженную тачку. Таким я его больше не видел.

Он ел и всё посматривал на меня – «что, Саня?», когда толстый пристав и трое городских появились на пристани. Один крикнул «дядю» – так назывался староста артели – и что-то сказал ему. «Дядя» ахнул, перекрестился, и все они направились к нам.

– Ты Иван Григорьев? – спросил пристав, закладывая за спину шашку.

– Я.

– Берите его! – закричал пристав и побагровел. – Он арестован.

Все зашумели. Отец встал, и все замолчали.

– За что?

– Ты у меня поговори!.. Взять!

Городовые подошли к отцу и взяли его под руки. Отец двинул плечом – они отскочили, и один городской вынул шашку.

– Ваше благородие, как же так? – сказал отец. – За что же брать меня? Я не кто-нибудь, меня все знают.

– Нет, брат, тебя ещё не знают, – возразил пристав. – Ты разбойник... Взять!

Снова городовые подступили к отцу.

– Ты, дурак, селёдкой-то не махай, – тихо, сквозь зубы сказал отец тому, который вынул шашку. – Ваше благородие, я семейный человек, работаю на этой пристани двадцать лет. Что я сделал? Вы скажите всем, чтобы все знали, за что меня берут. А то ведь и вправду подумают люди, что я – разбойник!

– Ну, прикидывайся, святой! – закричал пристав. – Не знаю я вас!.. Ну!

Городовые как будто медлили.

– Ну!

– Подождите, ваше благородие, я сам пойду... Саня... – Отец наклонился ко мне: – Саня, беги к матери, скажи ей... Ах, да ты ведь...

Он хотел сказать, что я немой, но удержался. Он никогда не произносил этого слова, как будто надеялся, что я когда-нибудь ещё заговорю. Он замолчал и оглянулся.

– Я схожу с ним, Иван, – сказал староста, – ты не беспокойся.

– Сходи, дядя Миша. Да вот ещё... – Отец вынул три рубля и отдал артельному. – Передай ей. Ну, прощайте!

Все хором ответили ему.

Он погладил меня по голове и сказал:

– Не плачь, Саня.

А я и не знал, что плачу.

И теперь страшно мне вспомнить, что сделалось с матерью, когда она узнала, что забрали отца. Она не заплакала, но зато, только «дядя» ушёл, села на кровать и, стиснув зубы, сильно ударила головой о стену. Мы с сестрой заревели – она даже не оглянулась. Бормоча что-то, она билась головой о стену. Потом встала, накинула платок и ушла.

Тётя Даша хозяйничала у нас целый день. Мы спали, то есть сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал: сперва об отце, как он со всеми прощался, потом о толстом приставе, потом о его маленьком сыне в матроске, которого я видел в губернаторском саду, потом о трёхколёсном велосипеде, на котором катался этот мальчик, – вот бы мне такой велосипед! – и, наконец, ни о чём, когда вернулась мать. Она вошла похудевшая, чёрная, и тётя Даша подбежала к ней...

Не знаю почему, мне вдруг представилось, что отца зарубили городовые, и несколько минут я лежал не двигаясь, не помня себя от горя и не слыша ни слова. Потом понял, что нет, он жив, но мать к нему не пускают. Три раза она сказала, что он взят за убийство... ночью убили сторожа на понтонном мосту... прежде чем я догадался, что ночью – это сегодня ночью; что сторож – это тот самый сторож; что понтонный мост – тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня: должно быть, подумала, что я испугался. Но я уже «говорил»...

Если бы я умел говорить!

Мне хотелось рассказать всё, решительно всё: и как я тайком удрал на Песчинку ловить раков, и как чёрный человек с тросточкой появился в проломе крепостной стены, и как он ругался, скрипел зубами, а потом плюнул в костёр и ушёл. Слишком трудная задача для восьмилетнего мальчика, который едва мог произнести два – три невнятных слова!

– И дети-то расстроились, – вздохнув, сказала тётя Даша, когда я замолчал и, думая, что теперь всё ясно, посмотрел на мать.

– Нет, он что-то хочет сказать. Ты что-нибудь знаешь, Саня?

О, если бы я умел говорить! Снова принялся я рассказывать, изображать... Мать понимала меня лучше всех, но на этот раз я с отчаянием видел, что и она не понимает ни слова. Ещё бы! Как не похожа была сцена на понтонном мосту на то, что пытался изобразить худенький чёрный мальчик, метавшийся по комнате в одной рубашке! То он бросался на кровать, чтобы показать, как крепко спал отец в эту ночь, то вскакивал на стул и поднимал крепко сложенные кулаки над недоумевающей тётей Дашей...

Она перекрестила меня, наконец:

– Его мальчишки побии.

Я замотал головой.

– Он рассказывает, как отца арестовали, – сказала мать, – как городской на него замахнулся. Правда, Саня?

Я заплакал, уткнувшись в её колени. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну.

Глава 3 ХЛОПОТЫ

Всё же это удалось бы в конце концов, если бы наутро не заболела мать. Она у меня всегда была странная, но такой странной я её ещё никогда не видел.

Прежде, когда она вдруг начинала стоять у окна часами или ночью вскакивать и в одной рубашке сидеть у стола до утра, отец отвозил её на несколько дней домой, в деревню, и она возвращалась здоровой. Теперь не было отца, да, впрочем, едва ли помогла бы ей теперь эта поездка!

Простоволосая, босая, она стояла в сенях и даже не оборачивалась, когда кто-нибудь проходил в дом. Она всё молчала, только изредка рассеянно говорила два – три слова.

И она как будто боялась меня. Когда я начинал «говорить», она с болезненным выражением затыкала уши. Как будто стараясь что-то припомнить, она проводила рукой по глазам, по лбу. Она была такая, что даже тётя Даша втихомолку крестилась, когда в ответ на её уговоры мать оборачивалась и молча смотрела на неё исподлобья чёрными, страшными глазами...

Прошло, должно быть, недели две, прежде чем она очнулась. Рассеянность ещё мучила её, но понемногу она стала разговаривать, выходить со двора, работать. Теперь всё чаще повторялось у неё слово «хлопотать». Первый сказал его старик Сковородников, за ним тётя Даша, а потом уже и весь двор. Нужно хлопотать! Мне смутно казалось, что это слово чем-то связано с игрушечным магазином «Эврика» на Сергиевской улице, в окнах которого висели хлопушки.

Но вскоре я убедился, что это совсем другое.

В этот день мать взяла нас с собой – меня и сестру. Мы шли в «присутствие» и несли прошение. Присутствие – это было тёмное здание за Базарной площадью, за высокой железной оградой.

Мне случалось видеть несколько раз, как чиновники по утрам шли в присутствие. Не знаю, откуда появилось у меня такое странное представление, но я был твёрдо убеждён, что они там и оставались, а на другое утро в присутствие шли уже новые чиновники, на третье – новые, и так каждый день.

Мы с сестрой долго сидели в полутёмном высоком коридоре на железной скамейке. Сторожа бегали с бумагами, хлопали двери. Потом мать вернулась, схватила сестру за руку, и мы побежали. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. Но я слышал сухой, равнодушный голос, и этот голос, к моему ужасу, говорил то, на что только я один во всём мире мог бы основательно ответить.

– Григорьев Иван... – И слышался шорох переворачиваемых страниц. – Статья 1454 Уложения о наказаниях. Предумышленное убийство... Что ж ты, голубушка, хочешь?

– Ваше благородие, – незнакомым, напряжённым голосом сказала мать, – он не виноват. Не убивал он никогда.

– Суд разберёт.

Я давно уже стоял на носках, закинув голову так далеко, что она, кажется, готова была отвалиться, но видел над барьером только руку с длинными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки.

– Ваше благородие, – снова сказала мать, – я желаю подать прошение в суд. Весь двор подписал.

– Прощение можешь подать, оплатив гербовой маркой в один рубль.

– Тут заплачено... Ваше благородие, это не его нож нашли.

Нож?! Я подумал, что ослышался.

– На этот счёт имеется собственное показание подсудимого.

– Может, он его неделю как потерял...

Я видел снизу, как у матери задрожали губы.

– Подобрали бы, голубушка. Впрочем, суд разберёт.

Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож – старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал наутро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сковородников выжиг мою фамилию сквозь увеличительное стекло.

Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу всё равно не поверили бы чиновники, сидевшие в энском присутствии за высокими барьерами в полутёмных залах. Но тогда! Чем больше я думал, тем всё тяжелее становилось у меня на душе. Значит, по моей вине арестовали отца, по моей вине мы теперь голодаем. По моей вине было продано новое драповое пальто, на которое мать целый год копила. По моей вине она должна ходить в присутствие и говорить таким незнакомым голосом и униженно кланяться этому невидимому человеку с такими длинными, страшными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки...

Никогда ещё с такой силой я не чувствовал свою немоту.

Глава 4 ДЕРЕВНЯ

Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких, медленнодвигающихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме.

Мать стирала в больнице, – уходила с утра, когда мы ещё спали, а я шёл к Сковородниковым и слушал, как ругался старик.

В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой чёрной кухне на низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плёл сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло – оно называлось «точить лясы» – он вывез с Волги, откуда был родом.

Он любил меня – должно быть, за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев. Но с особенной злостью он ругал попов.

– Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на бога? Попы говорят, что нет. А я говорю: да! Что такое ропот?

Я не знал, что такое ропот.

– Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе предназначено. Попы говорят: нельзя. Почему?

Я не знал почему.

– Потому, что «земля еси, и в землю отыдеси».

Он горько смеялся.

– А что нужно земле? Не больше того, что ей предназначено.

Я сидел у него по целым дням. Мне всё нравилось: и как он говорит совершенно непонятно и как смеётся, с таким страшным, ржавым скрипом, что я невольно засматривался на него в каком-то оцепенении.

Итак, была уже осень, и даже раки, которые за последнее время стали серьёзным спорьем в нашем хозяйстве, забились в норы и не соблазнялись больше моими лягушками.

Мы голодали, и мать решила, наконец, отправить меня и сестру в деревню.

Я плохо помню наше путешествие, и как раз по причине того странного оцепенения, о котором только что упомянул. В детстве я часто засматривался, заслушивался и очень многого не понимал. Самые простые вещи поражали меня. С открытым от изумления ртом я изучал расстилающийся передо мною мир...

Теперь я засмотрелся на мальчишку, проверявшего билеты на пароходе. Две недели назад его звали Минькой, и он играл с Петькой Сковородниковым в рюхи у нас на дворе. Разумеется, он не узнал меня. В синей курточке с матросскими пуговицами, в кепи, на котором было вышито «Нептун» – так назывался пароход, – он стоял на лесенке, небрежно поглядывая на пассажиров. Ничто больше не занимало меня – ни таинственный капитан, он же рулевой, бородатая морда которого виднелась в будке над рулём, ни грозное пыхтение машины. Минька поразил меня, и я не сводил с него глаз всю дорогу. «Нептун» был знаменитый пароход, на котором я мечтал прокатиться. Сколько раз мы ждали его, купаясь, чтобы с размаху броситься в волны! Теперь всё пропало. Как очарованный я смотрел на Миньку до тех пор, пока не стемнело, до тех пор, пока бородатый капитан-рулевой не сказал глухо в трубку: «Стоп! Задний ход!» Забурлила под кормой вода, и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат.

Я никогда не был в деревне, но знал, что в деревне у отца есть дом и при доме усадьба. Усадьба! Как я был разочарован, узнав, что под этим словом скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколько старых яблонь!

Отцу было восемнадцать лет, когда он получил это наследство. Но он не стал жить в деревне, и с тех пор дом стоял пустой. Словом, дом был отцовский, и мне казалось, что он должен походить на отца, то есть быть таким же просторным и круглым. Как я ошибся!

Это был маленький домик, когда-то пошатнувшийся и с тех пор стоявший в наклонном положении. Крыша у него была кривая, окна выбиты, нижние венцы согнулись. Русская печь на вид была хороша, пока мы её не затопили. Дымные чёрные скамейки стояли вдоль стен; в одном углу висела икона, и на её закоптелых досках чуть видно было чьё-то лицо.

Каков бы он ни был, это был наш дом, и мы развязали узлы, набили сенники соломой, вставили стёкла и стали жить.

Но мать провела с нами только недели три и вернулась в город. Её взялась заменить нам бабушка Петровна, приходившаяся тёткой отцу, а нам, стало быть, двоюродной бабкой. Это была добрая старуха, хотя к её седой бороде и усам трудно было привыкнуть. Беда была только в том, что она сама нуждалась в уходе, – и точно: мы с сестрой всю зиму присматривали за ней – носили воду, топили печь, благо изба её, которая была немного лучше нашей, стояла недалеко.

В ту зиму я привязался к сестре. Ей шёл восьмой год. В нашей семье все были чёрные, а она – беленькая, с выющимися косичками, с голубыми глазами. Мы все молчаливые, особенно мать, а она начинала разговаривать, чуть только открывала глаза. Я никогда не видел, чтобы она плакала, но ничего не стоило её рассмешить.

Так же как и меня, её звали Саней: меня – Александром, её – Александрой. Тётя Даша научила её петь, и она пела каждый вечер очень длинные песни таким серьёзным тончайшим голосом, что нельзя было слушать её без смеха.

А как ловко хозяйничала она в свои семь лет! Впрочем, хозяйство было простое: в одном углу чердака лежала картошка, в другом свёкла, капуста, лук и соль. За хлебом мы ходили к Петровне.

Так мы жили – двое детей – в пустой избе в глухой, заваленной снегом деревне. Каждое утро мы протапывали дорожку к Петровне. Страшно было только по вечерам: так тихо, что слышен, кажется, даже мягкий стук падающего снега, и в такой тишине вдруг начинал выть в трубе ветер.

Глава 5

ДОКТОР ИВАН ИВАНЫЧ. УЧУСЬ ГОВОРИТЬ

И вот однажды, когда мы только что легли, и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная тишина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно.

Это был высокий бородатый человек в полушубке, в треухе, такой замёрзший, что, когда я зажёл лампу и впустил его в дом, он не мог даже закрыть за собой дверь. Заслонив свет ладонью, я увидел, что у него совершенно белый нос. Он хотел снять заплечный мешок, согнулся и вдруг сел на пол.

Таким впервые предстал передо мной этот человек, которому я обязан тем, что сейчас пишу эту повесть, – замёрзший до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не на четвереньках. Пытаясь положить в рот дрожащие пальцы, он сидел на полу и громко дышал. Я стал снимать с него полушубок. Он пробормотал что-то и в обмороке повалился на бок.

Мне случилось видеть однажды, как мать лежала в обмороке и тётя Даша дула ей в рот. Точно так же поступил и я в этом случае. Мой гость лежал у тёплой печки, и неизвестно в конце концов, что помогло ему, хотя дул я просто отчаянно, так что и у меня самого голова закружилась. Как бы то ни было, он пришёл в себя, сел и стал с жадностью греться. Нос его отошёл. Он даже попробовал улыбнуться, когда я налил ему кружку горячей воды.

– Вы здесь одни, ребята?

Саня только сказала: «Одни», а он уже спал. Так быстро заснул, что я испугался: не умер ли? Но он, как будто в ответ, захрапел.

По-настоящему он пришёл в себя на следующий день. Когда я проснулся, он сидел на лежанке рядом с сестрой, и они разговаривали. Она уже знала, что его зовут Иваном Ивановичем, что он заблудился и что никому не нужно о нём говорить, а то его «возьмут на цугундер». Честно сознаюсь – до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но помню, что мы с сестрой сразу поняли, что нашему гостю грозит какая-то опасность, и, не сговариваясь, решили, что никому и ни за что не скажем о нём ни слова. Разумеется, мне легче было промолчать, чем Сане.

Иван Иванович сидел на лежанке, подложив под себя руки, и слушал, а она болтала. Всё уже было рассказано: отца забрали в тюрьму, мы подавали прошение, мать привезла нас и уехала в город, я – немой, бабка Петровна живёт второй дом от колодца, и у неё тоже есть борода, только поменьше и седая.

– Ах вы, мои милые! – сказал Иван Иванович и легко соскочил с лежанки.

У него были светлые глаза, а борода чёрная и гладкая. Сперва мне было странно, что он делает руками так много лишних движений; так и казалось, что он сейчас возьмёт себя за ухо через голову или почешет подошву. Но скоро я привык к нему. Разговаривая, он вдруг брал в руки какую-нибудь вещь и начинал подкидывать её или ставить на руку, как жонглёр.

В первый же день он показал нам множество интересных затей. Он сделал из спичек, коры и головки лука какого-то смешного зверя, напоминавшего кошку, а из хлебного мякиша – мышку, и кошка ловила мышку и мурлыкала, как настоящая кошка. Он показывал фокусы: глотал часы, а потом вынимал их из рукава; он научил нас печь картошку на палочках – словом, эти дни, которые он провёл у нас, мы с сестрой не скучали.

– Ребята, а ведь я доктор, – однажды сказал он. – Говорите: что у кого болит? Сразу вылечу.

Мы были здоровы. Но он почему-то не захотел идти к старосте, у которого заболела дочка.

*– Но в такой позиции
Я боюсь, страх,
Чтобы инквизиции
Не донес монах,*

– сказал он и засмеялся.

От него я впервые услышал стихи. Он часто говорил стихами, даже пел их или бормотал, подняв брови и сидя по-турецки перед огнём.

Сперва ему, кажется, нравилось, что я ни о чём не могу его спросить, особенно когда он по ночам просыпался от каждого скрипа шагов за окном и долго лежал, опершись на локоть и прислушиваясь; или когда он прятался на чердаке и сидел, пока не стемнеет, – так он провёл один день, помнится, праздник Егорья; или когда он отказался познакомиться с Петровной.

Но прошло два дня, и он заинтересовался моей немотой:

– Ты почему не говоришь? Не хочешь? Я молча смотрел на него.

Я молча смотрел на него.

– А я тебе скажу, что ты должен говорить. Ты слышишь – стало быть, должен говорить. Это, брат, редчайший случай: коли ты всё слышишь – и немой. Может, ты глухонемой?

Я замотал головой.

– Ну вот. Значит, заговоришь.

Он вынул из заплечного мешка какие-то инструменты, пожалел, что мало света, хотя был ясный солнечный день, и полез мне в ухо.

– Ухо вульгарис, – объявил он с удовольствием, – ухо обыкновенное.

Он отошёл в угол и сказал шёпотом: «Дурак».

– Слышал?

Я засмеялся.

– Хорошо слышишь, как собака. – Он подмигнул Сане, которая, разиня рот, смотрела на нас. – Отлично слышишь. Что же ты, милый, не говоришь?

Он взял меня двумя пальцами за язык и вытащил его так далеко, что я испугался и захрипел.

– У тебя, брат, такое горло! Чистый Шаляпин. Н-да!

Он с минуту смотрел на меня.

– Нужно учиться, милый, – серьёзно сказал он. – Ты про себя-то можешь что-нибудь сказать? В уме? – Он стукнул меня по лбу. – В голове, понимаешь?

Я промычал, что да.

– Ну, а вслух? Скажи вслух всё, что ты можешь. Ну, скажи: «да».

Я почти ничего не мог. Но всё-таки произнёс:

– Да.

– Прекрасно! Ещё раз.

Я сказал ещё раз.

– Теперь свистни.

Я свистнул.

– Теперь скажи: «у».

Я сказал:

– У.

– Лентяй ты, вот что! Ну, повторяй за мной...

Он не знал, что я всё говорил в уме. Без сомнения, именно поэтому с такой отчётливостью запомнились мне первые годы. Но от моей немой речи ещё так далеко было до всех этих «е», «у», «ы», до этих незнакомых движений губ, языка и горла, в котором застревают самые простые слова. Мне удавалось повторять за ним отдельные звуки, главным образом

гласные, но соединять их, произносить их плавно, «не лаять», как он мне велел, – вот была задача!

Только три слова: «ухо», «мама» и «плита» – получились сразу, как будто я произносил их когда-то, а теперь оставалось только припомнить. Так оно и было: мать рассказывала, что в два года я уже начинал говорить и вдруг замолчал после какой-то болезни.

Мой учитель спал на полу, покрывшись полушубком и положив под сенник какую-то металлическую светлую штуку, а я всё ворочался, пил воду, садился на постели, смотрел в замёрзшее узорами окно. Я думал о том, как я вернусь домой, как стану говорить с матерью, с тётей Дашей. Я вспомнил первую минуту, когда я понял, что не умею, не могу говорить: это было вечером; мать думала, что я сплю, и, бледная, прямая, с чёрными косами, переброшенными на грудь, долго смотрела на меня. Тогда впервые пришла мне в голову горькая мысль, отравившая мои первые годы: «Я хуже всех, и она меня стыдится».

Повторяя «е», «у», «ы», я не спал до утра от счастья. Саня разбудила меня, когда был уже день.

– Я к бабушке бегала, а ты всё спишь, – сказала сна быстро. – У бабушки котёнок пропал. Его Мурка в котёл снесла... А Иван Иванович где?

Сенник лежал на полу, и ещё видны были примятые места: голова, плечи, ноги. Но самого Ивана Ивановича не было. Он подкладывал под голову заплечный мешок – и мешка не было. Он покрывался полушубком – не было и полушубка.

– Иван Иванович!

Мы побежали на чердак – никого.

– Вот те крест, он спал, пока я к бабушке бегала. Я на него ещё посмотрела. Вижу – спит, думаю – пока я к бабушке сбегая... Санька, смотри!

На столе стояла чёрная трубочка с двумя кружками на концах: один плоский, побольше, другой маленький и поглубже. Мы вспомнили, что Иван Иванович вынимал её вместе с другими инструментами из заплечного мешка, когда смотрел мои уши.

Где же он? Иван Иванович!..

С тех пор прошло много лет. Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем. И не из суеверия, а из благодарности к этому человеку я всегда вожу с собой эту чёрную трубочку, которую он забыл у нас или, может быть, оставил на память. Скоро я узнал, что это стетоскоп – очень простой инструмент, которым доктора выслушивают лёгкие и сердце. Но тогда он казался мне таким же таинственным и милым, как и сам Иван Иванович, как всё, что он говорил и делал.

«Иван Иванович!..»

Исчез, пропал, ушёл, никому не сказавшись!

Грустный, я вышел во двор и обошёл вокруг дома. Следы! Его следы, уже слегка запорошенные снегом, шли прямо в поле, минуя дорогу, лежавшую в другой стороне. Всё меньше становились они и, дойдя до пруда, исчезли на тропинке, по которой бабы ходили полоскать в проруби бельё.

Глава 6

СМЕРТЬ ОТЦА. НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ

Всю зиму я учился говорить. С утра, едва проснувшись, я громко произносил шесть слов, которые Иван Иванович завещал мне произносить ежедневно: «кура», «седло», «ящик», «вьюга», «пьют», «Абрам». Как это было трудно! И как хорошо, как непохоже говорила эти слова сестра!

Но я был настойчив. Точно заклинание, которое должно было мне помочь, я повторял их по тысяче раз в день. Они мне снились. Я представлял себе какого-то загадочного Абрама, который сажает куру в ящик или уходит из дому в шляпе и несёт на плече седло. Вьюга, пьют!

Язык мой не слушался, губы чуть двигались. Сколько раз я готов был побить Саню, которая невольно смеялась надо мной! По ночам я просыпался в тоске и чувствовал: нет, никогда я не научусь говорить, навсегда останусь уродом, как однажды назвала меня мать. Но в эту же минуту я пробовал сказать и это слово: урод. Я помню, как это удалось мне наконец, и я уснул счастливый. Иван Иванович велел мне учиться говорить, не двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, которая уже довольно прочно во мне укоренилась. Положив руки в карманы, я глазами показывал на что-нибудь – на окно, на печь, на ведра – и громко, по слогам произносил это слово.

Почему-то ударения мне не давались, я ещё и до сих пор ставлю неправильные ударения...

День, когда, проснувшись, я не сказал шести заветных слов, был одним из самых печальных в моей жизни.

Петровна рано разбудила нас в этот день – уже и это было очень странно, потому что не она, а мы обычно приходили к ней по утрам, топили печку, ставили чайник. Она вошла, стуча палкой, и остановилась перед иконой. Она долго бормотала что-то и крестилась. Потом окликнула сестру, велела зажечь лампу...

Через много лет, взрослым человеком, я как-то увидел в детской книжке бабу-ягу. Это была та же Петровна – бородатая, сгорбленная, с клюкою. Но Петровна была добрая бабу-яга, а в этот день... в этот день, тяжело вздыхая, она сидела на лавке, и мне показалось даже, что слёзы катятся по её бороде.

– Слезай, Санька! – сказала она. – Иди ко мне.

Я подошёл.

– Ты уже большой, Санька. – Петровна погладила меня по голове. – Вчера от матери письмо пришло, что Иван заболел.

Она плакала.

– Очень дюже заболел он в тюрьме. Голова у него распухла и ноги. Пишет, что не знает, жив он теперь или нет.

И сестра заплакала.

– Что делать, божья воля, – сказала Петровна. – Божья воля! – повторила она с какой-то злостью и снова подняла глаза на икону.

Она сказала только, что отец заболел, но вечером, в церкви, я понял, что он умер. Вечером Петровна повела нас в церковь, чтобы мы «помолились во здравие», как она сказала.

Очень странно, но, прожив в деревне три месяца, я почти никого не знал, кроме нескольких мальчишек, с которыми катался на лыжах. Я никуда не ходил, стесняясь своей немоты. И вот теперь, в церкви, я увидел всю нашу деревню – толпу женщин и стариков, бедно одетых, молчаливых и таких же невесёлых, как мы. Они стояли в темноте, – только спереди, где протяжно читал поп, горели свечи. Многие вздыхали и крестились.

«Господи, помилуй», – без конца повторял поп. Из рта у него шёл пар, а из кадила, которым он помахивал, – синеватый дымок. И мне казалось, что все, так же как и я, не молятся, а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несётся вверх, к синему, замёрзшему окну. Должно быть, я забыл об отце. Но вдруг Петровна сердито толкнула меня в спину – до сих пор не знаю за что, – и в эту минуту я вспомнил его и понял, что он умер.

Все вздыхали и крестились, потому что он умер, и мы с сестрой стояли здесь, в темноте церкви, потому что он умер, и Петровна сердито толкнула меня, потому что он умер. Мы стоим и «молимся во здравие», потому что он умер.

Петровна взяла сестру к себе, а я вернулся домой и долго сидел, не зажигая огня. Чёрные тараканы, которых бабка нарочно – на счастье – принесла к нам, шуршали на холодной плите. Я ел картошку и плакал.

Умер, и я его никогда не увижу! Вот его выносят из присутствия, из той комнаты, где мы с матерью подавали прошение... Я перестал есть и стиснул зубы, вспомнив этот холодный голос и руку с длинными, сухими пальцами, в которой медленно качались очки. Подожди же! Я тебе отплачу! Когда-нибудь ты мне будешь кланяться, а я отвечу: «Голубчик, суд разберёт...» Вот гроб несут по коридору, а мимо пробегают сторожа с бумагами, и никто не видит, не хочет видеть, что его несут. Только тётя Даша идёт навстречу в длинном чёрном платке, как монашка. Идёт и крестится и плачет. Но вот мы останавливаемся, кто-то стоит у дверей, гроб качается на руках и опускается на пол. Мать кланяется, и я вижу снизу, как дрожат у неё губы...

Я опомнился, услышав свой голос. Должно быть, у меня был жар, потому что я нёс какую-то бессвязную чепуху, ругал себя и почему-то мать и, помнится, разговаривал с Иваном Ивановичем, хотя отлично знал, что он давно ушёл и даже что его следы держались в поле только два дня, а потом их завалило снегом.

Но я говорил – громко и ясно! Я говорил, я мог бы теперь рассказать, что произошло в ту ночь на понтонном мосту, я доказал бы, что нож – мой, что я потерял его, когда наклонился над убитым. Поздно! Опоздал на всю жизнь, и уже ничем нельзя помочь!

Обхватив голову руками, я лежал в темноте. В избе было холодно, ноги застыли, но я так и не встал до утра. Я решил, что больше не стану говорить. Зачем? Всё равно он умер, и я его никогда не увижу.

Глава 7

МАТЬ

Я плохо помню февральскую революцию и до возвращения в город не понимал этого слова. Но я помню, что загадочное волнение, непонятные разговоры я тогда связал с моим ночным гостем, научившим меня говорить.

По вечерам, насаживая на палочки картошку, я часто думал о нём, и всё таинственное, всё привлекательнее он мне представлялся. Почему он так неожиданно исчез? Не простился, не сказал, куда он идёт. Почему он прятался на чердаке? Почему не хотел лечить старостину Маньку и даже к Петровне не пошёл? Где он теперь? Вернётся ли? Просыпаясь по ночам, я прислушивался: не стучат ли в окно? Не он ли? Никто не стучал, только мягко, с неслышным шумом падал снег на наш дом и вдруг начинал свистеть в трубе ветер.

И никто не спрашивал нас о нём. Но я был уверен, сам не знаю почему, что теперь всё было бы иначе. Теперь ему не пришлось бы прятаться на чердаке. Пожалуй, он не отказался бы теперь познакомиться с Петровной!

Я не заметил, когда окончилась весна. Но лето началось в тот день, когда «Нептун», свистя и грозно пятясь задом, причалил к пристани, на которой мы с мамой ждали его с утра.

Минька, в кепке с золотыми буквами, в синей, уже изрядно потрёпанной курточке, стоял, как прежде, на лесенке, отважно и небрежно поглядывая на пассажиров. Бородатый капитан-рулевой глухо говорил в трубку: «Стоп! Вперёд!» и «Стоп! Задний ход!» Палуба таинственно дрожала. Мы возвращались в город. Мать везла нас домой – похудевшая, помолодевшая, в новом пальто и новом цветном платке...

Я часто думал зимой, как она будет поражена, услышав, что я говорю. А она только обняла меня и засмеялась. Она стала совсем другая за зиму. Всё время она думала о чём-то – это я сразу узнавал по живым движениям лица – и то расстраивалась молча, про себя, то улыбалась. Петровна решила, что она сходит с ума, и, ахнув, однажды спросила её об этом. Мать улыбнулась и сказала, что нет.

Мы пошли в лес драть лыко для Петровны, которая плела лапти на продажу, и мать запомнилась мне такой, какой она была в этот день: черноволосая, крепкая, белозубая, в цветном платке, повязанном на груди крест-накрест; она наклонялась, ловко срезала деревце и, оборвав ветки, надкусив комель, одним движением сдирала лыко. Она и меня хотела научить, но ничего не вышло, и я только порезал палец.

Потом я спрятался в кустах и долго сидел задумавшись, слушая, как наперебой щебечут птицы, и поглядывая на мать, которая уходила от меня всё дальше. И вдруг она запела:

*Приехали торгаши за задние ворота.
Кобылушку продала – белил я себе взяла;
Я коровушку продала – румян я себе взяла;
Подойничек продала – сурьмы я себе взяла.*

Солнце осветило кусты, и она выпрямилась, раскрасневшаяся, с блестящими глазами. Тут что-то было!

При нас она редко вспоминала отца. Но каждый раз, когда она ласково говорила со мной, я знал, что она думала о нём. Сестру она всегда любила...

На пароходе она всё думала – поднимала брови, покачивала головой – должно быть, спорила с кем-то в уме. Я тоже думал и думал: мне представлялось, с какой важностью я буду разгуживать по двору и вдруг небрежно скажу что-нибудь, как будто всегда умел говорить.

Заглядевшись на воду, я задремал и до смерти испугался во сне: мне померещилось, что я опять онемел.

– Мама, – сказал я шёпотом.

Она молчала.

– Мама! – в ужасе заорал я.

Она обернулась.

Каким заброшенным, каким бедным показался мне наш двор, когда мы вернулись! В этом году никто не позаботился о стоках, и грязная вода, в которой плавали щепки, так и осталась стоять под каждым крыльцом. Низенькие амбары ещё больше покосились за зиму; в заборе образовались такие дыры, через которые можно было въехать на телеге; за Сковородниковыми была навалена гора вонючих костей, копыт и обрезков шкур.

Старик варил клей. Он сидел на том же табурете, в переднике, в очках, примус стоял на плите, а на примусе железная шайка, от которой так страшно несло, что меня всё время тошнило, пока я у него сидел.

– Все думают, что это обыкновенный клей, – сказал он мне, когда полчаса спустя я запросился на свежий воздух, – а это клей универсальный. Он всё берет: железо, стекло, даже кирпич, если найдётся такой дурак, чтобы кирпичи клеить. Я его изобрёл. Мездровый клён Сковородникова. И чем он крепче воняет, тем крепче берёт.

Он недоверчиво посмотрел на меня поверх очков.

– Мездровый клей Сковородникова, – повторил он и вздохнул. – И занять бы ещё у кого-нибудь семь рублей на рекламу – отбою бы не было. Мужики берут на рынке столярный клей сорок копеек фунт. Это как назвать? Грабёж... Ну-ка, скажи что-нибудь!

Я сказал. Он одобрительно кивнул головой.

– Эх, Ивана мне жаль, – сказал он.

Тётя Даша была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадовал и испугал! Мы сидели на кухне вечером. Она всё спрашивала меня, как нам жилось в деревне, – спрашивала и сама же отвечала.

– Что же вы, бедняги, должно быть, скучали одни-то да одни? Кто же вам варил-то? Петровна? Петровна.

– Нет, не Петровна, – вдруг сказал я, – мы сами варили.

Никогда не забуду, какое лицо сделалось у тёти Даши, когда я произнёс эти слова. Открыв рот, она потрясла головой и икнула.

– И не скучали, – добавил я хохоча. – Только по тебе, тётя Даша, скучали. Что же ты к нам не приехала, а?

Она обняла меня:

– Милый ты мой, да как же это? Заговорил? Заговорил, голубчик ты мой! И молчит, ещё притворяется, ах ты этакой! Ну, рассказывай!

И я рассказал ей о замёрзшем докторе, постучавшемся в нашу избу, как мы прятали его трое суток, как он показал мне «е», «у», «ы» и заставил сказать «ухо».

– Ты за него должен молиться. Саня, – серьёзно сказала тётя Даша. – Как его зовут?

– Иван Иванович.

– Молись, каждый вечер молись!

Но я не умел и не любил молиться.

Глава 8

ПЕТЬКА СКОВОРОДНИКОВ

Тётя Даша сказала, что я очень переменялся с тех пор, как стал говорить. Я и сам это чувствовал. Прошлым летом я чурался товарищей: тяжёлое сознание своего недостатка связывало меня. Я был болезненно застенчив, угрюм и очень печален. Теперь этому, пожалуй, трудно поверить.

За два – три месяца я догнал своих сверстников. Петька Сквородников, которому было двенадцать лет, подружился со мной. Он был длинный, решительный, рыжий мальчик.

Первые в моей жизни книги я увидел у Петьки. Это были «Рассказы о действиях охотников в прежние войны», «Юрий Милославский» и «Письмовник», на обложке которого был изображён усатый молодец в красной рубашке, с пером в руке, а над ним в голубом овале – девица.

За чтением этого «Письмовника» мы и подружились. Что-то таинственное было в этих обращениях: «Любезный друг» или «Милостивый государь А. Ф.». Письмо штурмана дальнего плавания припомнилось мне, и я впервые сказал его вслух.

Мы сидели в Соборном саду. По ту сторону реки был виден наш двор и дома, очень маленькие, гораздо меньше, чем на самом деле. Вот маленькая тётя Даша вышла на крыльцо и села чистить рыбу. Мне казалось, что я вижу, как серебристые чешуйки отскакивают и, поблёскивая, ложатся у её ног. Вот Карлуша, городской сумасшедший, который беспрестанно то хмурился, то улыбался, прошёл по тому берегу и остановился у наших ворот – должно быть, заговорил с тётей Дашей.

Я всё время смотрел на них, пока читал письмо. Петька внимательно слушал.

– Интересно, – сказал он. – Я это тоже знал, да забыл. А потом что?

– Всё.

– Интересно, что потом с этим кораблём случилось. К нему могла помощь подоспеть. Я вот читал Ника Картера, так там тоже был такой случай. Одного миллионера бросили в водоём. Он догадался и закрыл кран. Тогда садовник стал поливать и думает: почему не идёт вода? И в последнюю минуту подоспела помощь. Он бы там подох. А ты здорово наизусть говоришь. Долго учил?

– Не знаю.

– Я сейчас что-нибудь прочитаю, а ты можешь повторить?

Он прочитал:

«Ответ с отказом.

Милостливый государь С. Н.

Выраженные Вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются Вас.

Примите и проч.

Примечание.

Ответы с отказом всегда пишутся общими простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости».

Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием. Петька недоверчиво высморкался.

– Здорово! – сказал он. – А это?

И он прочитал не останавливаясь, одним духом:

«Письмо к нему и к ней.

Начну чужими словами: «Я желала б забыть всё минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль: в нём и счастье, мгновенно мелькнувшее, в нём и радость моя, и печаль». Знаешь ли? Я нашла то, что дорого ценю в тебе (следует указать, что именно). Лучше тебя, дороже и милее нет, ты мне мил был, как (следует как). Вспомнила я первые слёзы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже два дня, как я живу без тебя (следует: весело, скучно, хорошо или о семейных обстоятельствах). Прощай, целую тебя».

Слегка запинаясь, я повторил и это письмо.

— Здорово! — с восхищением сказал Петька. — Вот так память!

К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Петька был занят: он «торговал папиросами от китайцев» — так называлось в нашем городе это тяжёлое дело. Китайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать. Как сейчас, я вижу перед собой одного из них, по фамилии Ли, — маленького, чёрно-жёлтого, с необыкновенно морщинистым лицом и довольно доброго: считалось, что «на угощенье» Ли даёт больше других китайцев. «На угощенье» — это был наш чистый заработок (потом и я стал торговать), потому что мы действительно всех угощали: «Курите, пожалуйста»; но тот наивный покупатель, который принимал угощение, непременно платил за него чистоганом. Это были наши денежки. Папиросы были в коробках по двести пятьдесят штук — «Катык», «Александр III», и мы продавали их на вокзале, в поездах, на бульварах.

Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что видел, чувствовал или хоть немного понимал всё глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара... Ничего я не видел и ничего не понимал. Я забыл даже и то неопределённое волнение, которое испытал весной в деревне. Я просто жил день за днём, торговал папиросами и ловил раков, жёлтых, зелёных, серых, — голубой так и не попался ни разу.

Но всем моим вольностям скоро пришёл конец.

Глава 9

ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПЯТАЯ, ДВАДЦАТАЯ, СОТАЯ...

Верно, он бывал у нас ещё до нашего возвращения в город: все знали его во дворе, и то неопределённо-насмешливое отношение, которое он встречал у Сковородниковых и тётки Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. Иногда он приносил что-нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни одной карамели!

Он был кудреватый, усы – кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по-моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом он, к сожалению, нравился моей матери – разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нём она становилась совсем другая, смеялась и даже начинала так же длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась, – я по её лицу догадался, что она думает о нём. Другой раз, разговаривая с тёткой Дашей, она сказала про кого-то: «Ненормальностей сколько угодно». Это были его слова.

Фамилия его была Тимошкин, но он почему-то называл себя Гаер Кулий, – до сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что «в жизни он бедный гаер» и что «жизнь швыряла его, как щепку».

При этом он делал значительное лицо и с глупым, задумчивым видом смотрел на мать.

И этот Гаер бывал теперь у нас каждый вечер. Вот один из таких вечеров.

Кухонная лампа висит на стене, и вихрастая тень моей головы закрывает тетрадку, бутылку чернил и руку, которая, беспомощно скрипя пером, двигается по бумаге.

Я сижу за столом, от старания упираясь языком в щеку, и вывожу палочки – одну, другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утверждал, что, пока они не будут «попиндикулярны», дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только как писать, но и как жить, и от этих бесконечных дурацких рассуждений у меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, но только не прямые, не «попиндикулярные».

– Каждому охота схватить лакомый кусок, – говорит он, – и к этому по природе каждый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением – это ещё вопрос!

Палочка, палочка, палочка, пятая, двадцатая, сотая...

– Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рассчитывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу и отца, как обвинённого в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению, не кто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба.

Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, пузатая, пятая, двадцатая, сотая...

– Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, отец стал выпивать, а поскольку человек углубляется в пьянство, постольку разрушается и его хозяйство. Потом его встретила смерть, и, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей лошади.

Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя: он распух, и «начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до трёх раз превзошла его, живого, по объёму». Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне...

Палочка, палочка, палочка... перо скрипит, палочка, клякса...

– И опустела наша родовая избёнка. Но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в одиннадцать лет.

Учитель смотрит на меня. Мне только десять, но я начинаю беспокойно ёрзать на табурете.

– Я поступил в ресторан, я стал слугой и побегушкой, но перестал, как лишний рот, отражаться на заработке моей матери.

Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гаер говорил просто, она бы мигом догадалась, что это обыкновенный человек – глупый, ленивый и жестокий. Впрочем, о том, что он очень жесток, она скоро узнала.

Она сидит за тем же столом и слушает его как зачарованная. Она чинит рубашки – отцовские рубашки, – и я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой-то беды я поднимаю глаза на её бледное лицо, на чёрные волосы с пробором посередине, на тонкие руки – и возвращаюсь к своим палочкам... Очень хочется пронести хоть одну длинную черту вдоль строчки, вышел бы прекрасный забор, но... нельзя! Палочки должны быть «попиндикулярны».

– Между тем моя мать, – продолжал Гаер, – стала заметно подаваться в сторону добротных подаваний. Что же я сделал? Сознывая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и попросил его повлиять на мать...

Сотый раз я слышу про этого незабвенной памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвальнях из деревни, снимает жёлтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьёт мать, а маленький Гаер Кулий стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать.

Палочки, палочки... Но забор уже давно нарисован, и хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадёт, я быстро рисую над забором солнце, птиц, облака. Продолжая говорить, Гаер косится на меня, я торопливо закрываю солнце и птиц рукавом. Поздно! Он берёт в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю.

– А вот теперь посмотрите, Аксинья Фёдоровна, чем занимается ваш любезный сынок!

И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берёт меня за ухо и стучит моей головой о стол.

Бывали и другие вечера: случалось, что мой будущий отчим читал вслух. И как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в Соборном саду! Гаер читал всегда одну и ту же книгу: «Из дневника артурца», с таким стихотворением, напечатанным на обложке:

*Ныне полный кавалер,
Защищая царя и отечество,
Шкуры своей не жалел.
Пять ран и две контузии получил,
Но хорошо и врага проучил.*

И эту книгу он читал с таким назидательно-угрожающим выражением, как будто не кто иной, как я, был виноват во всех бедствиях храброго артурца.

Уроки прекратились в тот день, когда Гаер Кулий переехал к нам. Накануне была отпразднована свадьба, на которую, сказавшись больной, не пришла тётя Даша. Я помню, какая нарядная сидела на свадьбе мать. Она была в белой жакетке рытого бархата – подарок жениха – и причёсана, как девушка: косы крест-накрест вокруг головы. Она разговаривала,

пила, улыбалась, но иногда со странным выражением проводила рукой по лицу. Гаер Кулий произнёс речь, в которой указал на свои заслуги перед бедной семьёй, «безусловно шедшей к развалу, поскольку её бывший глава оставил разрушительную картину», и, между прочим, упомянул о том, что он открыл передо мной «общее образование», очевидно понимая под этим словом «попиндикулярные» палочки.

Едва ли мама слышала эту речь. Опустив глаза, она сидела рядом с женихом и, вдруг нахмурясь, смотрела прямо перед собой с растерянным выражением.

Старик Сквородников, крепко выпив, подошёл к ней и ударил по плечу:

– Эх, Аксинья, променяла ты...

Она стала беспомощно, торопливо улыбаться.

Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе, и, хотя очень тяжело было видеть, как он приходит и садится, развалившись, на то место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой, из его тарелки, всё-таки ещё можно было жить, убегая, отмалчиваясь, возвращаясь домой, когда он уже спал. Но вскоре за какие-то тёмные дела его выгнали из конторы, и жизнь сразу стала невыносимой. Несчастливая мысль заняться нашим воспитанием – моим и сестры – пришла в эту туманную голову, и у меня не стало больше ни одной свободной минутки.

Теперь я догадываюсь, что в юности он служил в лакеях – видел же он где-нибудь все эти смешные и странные штуки, которым он подвергал меня и сестру!

Прежде всего, он потребовал, чтобы мы приходили здороваться с ним по утрам, хотя мы спали на полу в двух шагах от его кровати. И мы приходили. Но никакие силы не могли заставить меня произнести: «Доброе утро, папа!» Утро было не доброе, и папа был не папа. Нельзя было прежде него садиться за стол, а чтобы встать, нужно было попросить у него позволения. Мы должны были благодарить его, хотя мать по-прежнему стирала в больнице, а обед, купленный на её и мои деньги, варила сестра. Я помню отчаяние, овладевшее мною, когда бедная Саня встала из-за стола и, некрасиво присев, как он её учил, сказала в первый раз: «Благодарю вас, папа». Как мне хотелось бросить в это толстое лицо тарелку с недоёденной кашей! Я не сделал этого и до сих пор сожалею...

Как я его ненавидел! Мне противны были его походка, его храп, его волосы, даже его сапоги, которые с мрачной энергией он сам чистил каждое утро. Просыпаясь по ночам, я подолгу с ненавистью смотрел на его толстое спящее лицо. Он не подозревал, какой опасности подвергался! Я бы убил его, если бы не тётя Даша.

Глава 10

ТЁТЯ ДАША

Я не стал бы, пожалуй, и вспоминать это время, но другой и милый образ встаёт передо мной – тётя Даша, которую я тогда впервые сознательно оценил и полюбил.

Я приходил к ней и молчал: она и так всё знала. Чтобы утешить меня, она рассказывала мне историю своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет ещё и сорока лет. А мне она казалась настоящей бабушкой, в особенности когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесённые на наш двор половодьем (она их ещё читала).

Двадцати пяти лет она осталась вдовой: её муж был убит в самом начале русско-японской войны. На комод, покрытом кружевной накидкой, между вазами голубого витого стекла, стоял его портрет. А за портретом хранилось письмо, которое я, разумеется, знал наизусть. Походная канцелярия 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка извещала тётю Дашу, что её муж, рядовой Фёдор Александрович Фёдоров, награждённый знаками отличия военного ордена 3-й и 4-й степеней, пал геройской смертью в бою с японцами. Герой! Долго ещё при этом слове мне представлялся коротко остриженный мужчина с усами и бородкой, сидящий на фоне снежных гор в камышовом кресле.

Каждый вечер тётя Даша читала по одному письму – это стало для неё чем-то вроде обряда. Обряд начинался с того, что тётя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту, по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой.

Потом происходило чтение – именно происходило, – неторопливое, с долгими вздохами, с ворчаньем, когда попадались неразборчивые слова. Тётя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям, одних поругивала, других хвалила. Выходило, одним словом, что все эти письма адресованы ей. Точно так же она читала и книги. Семейные и любовные дела разных князей и графов, героев приложений к журналу «Родина», тётя Даша разбирала так, как будто все князья и графы жили на соседнем дворе.

– А барон-то Л., – говорила она оживлённо, – так я и знала, что он бросит мадам де Сан-Су. Милая, милая, а вот – на тебе! Хорош, голубчик!

Когда, спасаясь от Гаера Кулия, я проводил у неё вечера, она уже дочитывала почту – оставалось не больше пятнадцати писем. Среди них было одно, которое я должен привести здесь. Тётя Даша не поняла его. Но мне и тогда казалось, что оно чем-то связано с письмом штурмана дальнего плавания.

Вот оно (первые строчки тётя Даша не могла разобрать):

– «...Молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть ещё на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга! Не только я один – вся экспедиция шлёт ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идём на риск, но мы не ждали такого удара. Остаётся делать всё, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы всё-таки не особенно ждите...»

Тётя Даша читала запинаясь, поглядывая на меня через очки, с поучительным выражением. Я слушал её. Я не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово.

Письмо было длинное, на семи или восьми страницах, – подробный рассказ о жизни корабля, затёртого льдами и медленнодвигающегося на север. Меня особенно поразило, что лёд был даже в каютах, и каждое утро приходилось вырубать его топором.

Я мог бы рассказать своими словами о том, как, охотясь на медведей, упал в трещину и разбился насмерть матрос Скачков, о том, как все измучились, ухаживая за больным механиком Тиссом. Но дословно я запомнил только те несколько строк, которые приведены выше.

Тётя Даша всё читала вздыхая, и словно туманная картина представлялась мне: белые палатки на белом снегу; собаки, тяжело дыша, тащат сани; огромный человек, великан, в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, идёт навстречу саням, как поп в меховой рясе...

Однажды, придя к тётё Даше, я застал её в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял портрет её мужа, героя русско-японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок.

– Вот что делает со мною, кровопийца, ругатель! – сказала она мне с такой злобой, что я удивился. – Вот как надругался! Думаете, сирота, так и некому меня охранить?.. Найдётся!

– Тётя Даша!

– Найдётся! – повторила она и снова заплакала. – Не буду я терпеть. Уеду, вот тебе и вся статья... Поминай, как звали!

Она села на кровать, сняла ботинок и швырнула его об пол.

– Пускай возьмут тебя черти! – сказала она торжественно. – И сам ты, старый чёрт, помни и знай: я тебе не пара! Не будет этого никогда...

Я понял, что она ругала старика Сковородникова, и спросил, что он сделал. Но она только махнула рукой.

Мне ещё тогда показалось, что она сама хорошенько не знает, обидел он её или нет. Во всяком случае, он сказал ей что-то особенное, потому что вечером тётя Даша надела свой чёрный кружевной платок и пошла к цыганке-гадалке, которая жила на соседнем дворе.

Вернулась она задумчивая, тихая и больше не ругала Сковородникова; наоборот, вдруг сказала про себя: «и непьющий».

Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тётя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном парусиновом пальто, в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородникову, варившему свой универсальный клей на крыльце:

– Это вы-с продаёте дом?

Сковородников посмотрел на него, потом на тётю Дашу.

– Я, – отвечал он, – продаю этот дом и всё имущество по причине отъезда.

Тётя Даша взволнованно зашептала, зашептала, вскочила, уронив стул, и, как вчера, содрала с головы платок.

– Земля имеется?

– Имею землю, ограниченную в пределах забора.

Тётя Даша шептала всё громче.

– Не продаётся! – вдруг закричала она. – Не продажный этот дом! Уходите!

Сковородников с хитрым выражением закрыл один глаз.

– Ты хозяин? – вдруг быстро спросил его человек в парусиновом пальто.

– Я.

– Так что же – продаёшь, нет?

– Вот говорят – не продаётся, – самодовольно сказал Сковородников и захохотал.

Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал. Но вскоре всё разъяснилось.

Глава 11

РАЗГОВОР С ПЕТЬКОЙ

Ещё сидя над «попиндикулярными» палочками, я задумал удрать. Недаром рисовал я над забором солнце, птиц, облака! Потом я забыл эту мысль. Но с каждым днём мне всё трудней становилось возвращаться домой.

С матерью я почти не встречался. Она уходила, когда я ещё спал. Иногда, просыпаясь по ночам, я видел её за столом. Белая, как мел, от усталости, она медленно ела, и даже Гаер немного робел, встречаясь с её чёрными, исподлобья, глазами. Сестру я очень любил. Но уж лучше бы я и её не любил. Я помню, как этот подлец Гаер избил её до полусмерти за то, что она пролила рюмку постного масла. Её прогнали из-за стола, но я тайком принёс ей картошки. Она ела её и горько плакала, и вдруг спохватилась – не потеряла ли она свои цветные стёклышки, когда её били. Стёклышки нашлись. Она засмеялась, доела картошку и снова начала плакать...

Должно быть, уже приближалась осень, потому что мы с Петькой бродили по Соборному саду и подкидывали босыми ногами листья. Петька врал, будто старинный, прикритый горкой подкоп, на котором мы сидели, ведёт из сада на тот берег реки под водой и будто Петька один раз дошёл до середины.

– Всю ночь шёл, – небрежно сказал Петька. – Там скелеты на каждом шагу.

С горки был виден на высоком берегу Покровский монастырь, белый, окружённый невысокими крытыми стенами, за ним – луга, то светло-зелёные, то жёлтые, под ветром менявшие цвета, как море.

Но тогда мы с Петькой очень мало думали о красоте природы. Мы лежали на горке вниз животами и сосали какие-то горькие корешки, про которые Петька говорил, что они сладкие.

Помнится, разговор начался с крыс: живут ли в подкопе крысы? Петька сказал, что живут, сам видел, и что у крыс, как у пчёл, бывает царица-матка.

– Они в високосный год все передохнут, – добавил он, – а царица опять наплодит. Она громадная, как зайчиха.

– Врёшь!

– Вот те крест, – равнодушно сказал Петька.

У нас было как бы условлено, о чём можно врать, а о чём нет. Мы уже и тогда, мальчиками, уважали друг друга.

– А в Туркестане крыс нет, – задумчиво добавил Петька, – там тушканчики, и в степи полевые крысы. Но это совсем другое: они едят траву, вроде кроликов.

Он часто говорил о Туркестане. Это был, по его словам, город, в котором груши, яблоки, апельсины росли прямо на улицах, так что можно срывать их сколько угодно и никто за это не всадит тебе в спину хороший заряд соли, как сторожа в наших фруктовых садах. Спят там на коврах, под открытым небом, потому что зимы не бывает, а ходят в одних халатах – ни тебе сапог, ни пальто.

– Там турки живут. Все вооружённые поголовно. Кривые шашки в серебре, за опояском нож, а на груди патроны. Поехали, а? Я решил, что он шутит. Но он не шутил. Немного поблуднев, он вдруг отвернулся от меня и встал, взволнованно глядя на далёкий берег, где знакомый старый рыбак спал над своими удочками, у самой воды вставленными в гальку. Мы помолчали.

– А батя? Отпустит?

– Стану я его спрашивать! Ему теперь не до меня.

– Почему?

– Потому, что он женится, – с презрением сказал Петька.

Я был поражён.

– На ком?

– На тётке Даше.

– Врёшь!

– Он ей сказал, что, если она за него не выйдет, он дом продаст, а сам пойдёт по деревянным кастрюли лудить. Она сперва ершилась, а потом согласилась. Влюблена, что ли! – презрительно добавил Петька и плюнул.

Я ещё не верил. Тётя Даша! Замуж! За старика Сковородникова? Которого она так ругала!

– А тебе что?

– Ничего, – сказал Петька.

Он насупился и заговорил о другом. Два года тому назад умерла его мать, и он, плача, не помня себя, пошёл со двора и забрёл так далеко, что его насилу отыскиали. Я вспомнил, как его за это дразнили мальчишки.

Мы ещё немного поговорили, а потом легли на спину, раскинув руки крестом, и стали смотреть в небо. Петька уверял, что, если так пролежать минут двадцать, не мигая, можно днём увидеть звёзды и луну. И вот мы лежали и смотрели. Небо было ясное, просторное; где-то высоко, перегоняя друг друга, быстро шли облака. Глаза мои налились слезами, но я изо всех сил старался не мигать. Луны всё не было, а про звёзды я сразу понял, что Петька соврал.

Где-то шумел мотор. Мне показалось, что это военный грузовик работает на пристани (пристань была внизу, под крепостной стеной). Но шум приближался.

– Аэроплан, – сказал Петька.

Он летел, освещённый солнцем, серый, похожий на красивую крылатую рыбу. Облака надвигались на него – он летел против ветра. Но с какой свободой, впервые поразившей меня, он обошёл облака! Вот он был уже за Покровским монастырём; чёрная крестообразная тень бежала за ним по лугам на той стороне реки. Он давно исчез, а мне всё казалось, что я ещё вижу вдалеке маленькие серые крылья.

Глава 12

ГАЕР КУЛИЙ В БАТАЛЬОНЕ СМЕРТИ

У Петьки был родной дядя в Москве, и весь наш план держался на этом дяде. Дядя работал на железной дороге – Петька утверждал, что машинистом, а я думал, что кочегаром. Во всяком случае, прежде Петька всегда называл его кочегаром. Этот машинист-кочегар служил на поездах, пять лет тому назад ходивших из Москвы в Ташкент. Я говорю с такой точностью – пять лет – потому, что от дяди уже пять лет не было писем. Но Петька говорил, что это ничего не значит, потому что дядя всегда редко писал, а работает он на тех же самых поездах, тем более что последнее письмо пришло из Самары. Мы вместе посмотрели карту, и действительно оказалось, что Самара находится между Москвой и Ташкентом.

Словом, нужно было только разыскать этого дядю. Адрес его Петька знал, – если бы и не знал, всегда можно по фамилии найти человека. Насчёт фамилии у нас не было ни малейших сомнений: Сковородников – такая же, как у Петьки.

Так представлялась нам вторая часть пути: дядя должен был просто отвезти нас из Москвы в Ташкент на паровозе. Но как добраться до Москвы?

Петька не уговаривал меня. Но с каменным лицом он выслушивал мои робкие возражения. Он не отвечал мне – ему было всё ясно. А мне ясно было только одно: если бы не Гаер, я бы никуда не ушёл. И вдруг оказалось, что он уходит, – он уходит, а я остаюсь.

Это был памятный день. В военной форме, в новых, блестящих, скрипящих сапогах, в фуражке набекрень, из-под которой ровной волной выходили кудри, он явился домой и положил на стол двести рублей.

По тому времени это были неслыханные деньги, и мать с невольной жадностью прикрыла их руками.

Но меня, и Петьку, и всех мальчишек с нашего двора поразили не деньги – нет! Совсем другое. На рукаве его форменной гимнастёрки был вышит череп, а под черепом – скрещённые кости. Отчим поступил в батальон смерти.

Без сомнения, мои читатели не помнят этих батальонов. Человек с барабаном вдруг появлялся на каком-нибудь собрании, на гулянье – везде, где было много народу. Он бил в барабан – все умолкали. Тогда другой человек, большей частью офицер, с таким же черепом и костями на рукаве, как у моего отчима, начинал говорить. От имени Временного правительства он приглашал всех в батальон смерти. Но хотя он и утверждал, что каждый записавшийся получит шестьдесят рублей в месяц плюс офицерское обмундирование, не считая подъёмных, никому не хотелось умирать за Временное правительство, и в батальон смерти записывались главным образом такие жулики, как мой отчим.

Но в тот день, когда, торжественно-мрачный, он пришёл домой в новой форме и принёс двести рублей, он никому не казался жуликом. Даже тётя Даша, которая его ненавидела, вышла и неестественно поклонилась.

Вечером он пригласил гостей и произнёс речь.

– Все эти проделываемые начальством процедуры, – сказал он, – имеют назначение оградить свободу революции от нищих, абсолютное большинство которых составляют евреи. Нищие и большевики создают подлую авантюру, от которой, безусловно, страдают все плоды существующего порядка. Для нас, защитников свободы, эта трагедия решается очень просто. Мы берём в свои руки оружие, и горе тому, кто ради удовлетворения личной власти покусится на революцию и свободу! Свобода стоит дорого. Задёшево мы её не отдадим! Такова в общих чертах окружающая момент обстановка!

Мать была очень весела в этот вечер. В белой бархатной жакетке, которая очень шла к ней, она с бутылкой вина обходила гостей и после каждой рюмки всё подливала. Прия-

тель отчима, коротенький любезный толстяк, тоже из батальона смерти, встал и почтительно предложил выпить за её здоровье. Он от души смеялся, когда отчим говорил, а теперь стал очень серьёзен. Высоко подняв бокал с вином, он чокнулся с матерью и коротко сказал: «Ура!»

Все закричали: «Ура!» Она смутилась. Немного порозовев, она вышла на середину комнаты и низко, по-старинному поклонилась.

– Красавица! – громко сказал толстяк.

Потом старик Сковородников произнёс ответную речь. Он был пьян и поэтому говорил с очень длинными паузами, во время которых все молчали.

– Каждый должен понимать о смерти, – сурово сказал он. – Тем более, кое-кто только напрасно коптит небо, и ему одна дорога – в ваш батальон. Но меня, например, туда калачом не заманишь. Почему? Потому, что я за вашу свободу умирать не желаю. Ваша свобода – это торговля. И ваш батальон – та же торговля. Продажа своей будущей смерти за двести рублей. Позвольте, а если я не умру? Деньги обратно?

Он сказал ещё что-то про министров-капиталистов и сел. Сжав кулаки, отчим подошёл к нему. Плохо кончился бы этот праздник... Но толстяк (который от души смеялся и над ответной речью) вскочил и бросился между ними. Пока он уговаривал отчима, Сковородников вышел, нарочно громко стуча сапогами.

Но праздник всё-таки кончился плохо.

Глава 13

ДАЛЬНИЕ ПРОВОДЫ

Должно быть, шёл третий час, я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом, все давно ушли, отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился. Я узнал голос тёти Даши и подошёл к окну. Какая-то женщина лежала во дворе, и тётя Даша громко дула ей в рот.

– Тётя Даша!

Как будто не слыша меня, тётя Даша вскочила, зачем-то обежала наш дом и постучала в окно:

– Воды дайте!.. Пётр Иванович, там Аксинья лежит!

Я открыл дверь. Она вошла и стала будить отчима:

– Пётр Иванович! Ах ты, господи!.. (Отчим только мычал.) Саня, нужно её сюда перенести. Она, должно быть, упала во дворе и расшиблась... Пётр Иванович!

С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лёг. Так мы его и не добудились.

Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был простой обморок, но, падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лёд. Но покупать лёд всем показалось странным, и тётя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотенце.

Я помню, как Саня выбегала во двор, плача мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слёзы ладонью. Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчине, на другой день перебравшемся в свой батальон, но зато нас – меня и сестру – не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила её, она поминутно шурилась, как будто старалась что-то разглядеть, и это почему-то очень не нравилось тёте Даше. Она проболела три недели и, кажется, уже начинала поправляться. И вдруг на неё «нашло».

Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол.

– Мама!

Она посмотрела на меня исподлобья, и вдруг я понял, что она меня не видит.

– Мама! Мама!

Всё с тем же внимательным, строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел её уложить...

С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить её насильно яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла.

Тётя Даша ругала её и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь чёрные косы, и не говорила ни слова. Только раз, когда Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест: не хочет жить, потому и не ест, – мать пробормотала что-то, нахмурилась и отвернулась.

Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня – внимательно и, кажется, с каким-то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь – каждый день. И я понимал, о чём она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца, быть может, просила прощения за Гаера, за всё, что он с нами делал. Но какое-то оцепенение нашло на меня. Всё валилось из рук, я ничего не делал, ни о чём не думал. Таков был и наш последний разговор – ни я, ни она не произнесли ни слова. Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы. Я понял, что она хочет проститься. Но, как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз, на пол.

На другой день она умерла...

В полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса, отчим плакал в сенях, но никто почему-то не обращал на него никакого внимания...

Мы с сестрой сидели на дворе, и все, кто бы ни пришёл, останавливались подле нас и говорили одно и то же: «Небось, жалко вам маму?» или: «Теперь одни остались, сиротки?» Это был какой-то один страшный обряд – и то, что старухи, приходившие к Сквородниковым играть в «козла», заперлись у нас, а потом, с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами, выносили вёдра, как будто мыли полы, и то, что тётя Даша бегала за какой-то «подорожной». Мне казалось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и ждали.

Через много лет я прочитал у Бальзака, что «наблюдательность обостряется от страданий», и тотчас же вспомнил эти дни, когда обряжали, отпевали и хоронили мать. Мне запомнилось каждое слово, каждое движение – и своё и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шёпотом, потом всё громче и наконец своими обыкновенными голосами. Они привыкли – и Сквородников, и отчим, и тётя Даша, – уже привыкли к тому, что она умерла! Я с ужасом заметил, что и сам вдруг начинал думать о другом.

Неужели и я привык, неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька подарил мне уже давно, а я из-за смерти матери так и не собрался испытать этот биток? И сейчас же с раскаянием я принуждал себя думать о маме.

Так было и в день похорон.

У Сани болела голова, и её оставили дома. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых два часа, одни отправились за гробом. Мы – это Сквородников, тётя Даша и я.

Они шли пешком; тётя Даша держалась за какую-то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу.

Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами или когда кто-нибудь на две – три минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начинал ругать себя. Но мы ехали всё дальше и дальше, равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить бог весть где – далеко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой гроба.

Вот Застенная; вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошёл в Летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что предпоследний щит можно раздвинуть – и пожалуйста, ты в саду! Хочешь – слушай музыку, хочешь – нарви тайком левкоев в садоводстве и после спектакля продавай публике... пять копеек за пучок!

Вот кадетский корпус; возы с матрацами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, не то офицеры, не то гимназисты, зачем-то тащат матрацы, закладывают ими окна во втором этаже. Вот Афониная горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь и в пасхальную ночь из-под земли слышится пение. Кто-то копошился на Афониной горке, и, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди наваленных веток.

И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что, ещё когда мы проезжали Базарную площадь, у ворот присутствия стоял часовой, в саду за решёткой торопливо ходили какие-то люди в штатском, и один из них тащил пулемёт. Магазины были закрыты, улицы пусты, за Сергиевской мы не встретили ни одного человека. Что случилось?

Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлёстывая лошадь. Тётя Даша и Сквородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь – так называлось пустое, грязное место между городом и Посадом, – а там спуск к реке, Мельничный мост... Что-то

коротко простучало вдалеке, кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тётя Даша догнала нас и стала ругаться:

– Ошалел, что ли? Не дрова везёшь!

– Стреляют, – мрачно возразил кучер.

Спуск к реке был прорыт в косогоре, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по сторонам. Где-то стреляли, но всё реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил пескарей, был уже виден. И вдруг кучер привстал, замахнулся... Лошадь рванулась, и мы помчались вдоль берега, далеко за собой оставив Сквородникова и тётю Дашу.

Наверно, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, заскрипел, нас трянуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где-то позади кричал Сквородников, плачущим голосом ругалась тётя Даша.

Надвинув пониже свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими-то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась.

Среди людей, выбежавших к нам из-за балок, я узнал знакомого наборщика, который прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка, а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, торчал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки.

Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться.

– Что же вы, не видите – похороны? Чуть лошадь не застрелили!

– Мы не стреляли, это ты под кадет попал, – возразил наборщик. – А ты не видишь, дурак, что баррикады?

– Как твоя фамилия? – кричал кучер. – Вы мне ответите! Кто за ремонт платить будет? – Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места. – Вы мне спицу сломали!

– Дурак, – снова сказал наборщик, – говорят тебе – не мы! Станем мы по гробам стрелять. Дура!

– Кого хоронишь, мальчик? – тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на которой вместо кокарды была красная лента.

– Мать, – с трудом сказал я.

Он снял папаху.

– Вы, товарищи, потише, – сказал он. – Похороны. Вот парнишка мать провожает. Нехорошо всё-таки.

Все посмотрели на меня. Наверно, у меня был неважный вид, потому что, когда всё было улажено и тётя Даша, плача, догнала нас и мы через мельницу выехали на мост, я нашёл в кармане своей курточки два куска сахара и белый сухарь.

Измученные, по тому берегу Песчинки мы вернулись домой после похорон.

Над городом стояло зарево: горели казармы Красноярского полка. У понтонного моста Сквородников окликнул знакомого постового, и начался длиннейший разговор, из которого я ничего не понял: кто-то где-то разобрал пути, конный корпус идёт на Петроград, вокзал занят батальоном смерти. Фамилия «Керенский» с разными прибавлениями повторялась ежеминутно. Я чуть стоял на ногах, тётя Даша охала и вздыхала.

Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле неё на постель.

Не знаю почему, в эту ночь, первую ночь, когда мы остались одни, тётя Даша не ночевала у нас. Она принесла мне каши, но мне не хотелось есть, и она поставила тарелку на окно. На окно – не на стол, где утром лежала мать. Утром, а сейчас ночь. Саня спит на её постели. На её постели, на том месте, где она лежала с венчиком на лбу, с подорожной в руке, – я и не знал, что так называется эта свёрнутая трубкой бумага.

Я встал и подошёл к окну. Темно было на дворе, а над рекой – зарево, чёрно-дымные полосы разгорались и гасли.

Казармы горят, но ведь они за железной дорогой, далеко, совсем в другой стороне...

Я вспомнил, как она взяла меня за руку, качая головой и стараясь не плакать. Почему я ничего не сказал ей? Она очень ждала хоть одного слова.

Галька накатывала на берег – должно быть, поднялся ветер, и дождь стал накрапывать. Долго, ни о чём не думая, я смотрел, как большие, тяжёлые капли скатывались по стеклу – сперва медленно, потом всё быстрее и быстрее.

Мне приснилось, что кто-то рванул дверь, вбежал в комнату и скинул мокрую шинель на пол. Я не сразу догадался, что это вовсе не сон. Отчим метался по дому, на ходу стаскивая с себя гимнастёрку. Скрипя зубами, он стаскивал её, а она не шла, облепила спину. Голый, в одних штанах, он бросился к своему сундуку и вынул из него заплечный мешок.

– Пётр Иваныч!

Мельком он взглянул на меня и ничего не ответил. Мохнатый и потный, он торопливо перекладывал бельё из сундука в мешок. Он закатал одеяло, прижал коленом, перетянул ремнём. Всё время он злобно двигал губами, и сжатые зубы становились видны – крупные и длинные, настоящие волчьи.

Три гимнастёрки он надел на себя, а четвертую сунул в мешок. Должно быть, он забыл, что я не сплю, – иначе, пожалуй, посовестился бы сорвать с гвоздя и сунуть туда же, в мешок, мамину бархатную жакетку.

– Пётр Иваныч!

– Молчи! – подняв голову, сказал он. – Всё к чёрту!

Он переобулся, надел шинель и вдруг увидел на рукаве череп и кости. С ругательством он снова скинул шинель и стал срывать череп и кости зубами. Мешок на плечо – и на много лет этот человек исчез из моей жизни! Остались только грязные следы на полу да пустая жестянка от папирос «Катык», в которой он держал запонки и цветные булавки.

Всё объяснилось на другой день. Военно-революционный комитет объявил в городе советскую власть. Батальон смерти и добровольцы выступили против него и были разбиты.

Глава 14

БЕГСТВО. Я НЕ СПЛЮ, Я ПРИТВОРЯЮСЬ, ЧТО СПЛЮ

Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бесплатно? Наверно, слух о бесплатных трамваях донёсся до него в таком преувеличенном виде.

– Взрослым нужно командировку, – твёрдо сказал он. – А нам – ничего.

Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презрительно смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, всё убеждало его, что мы, ни минуты не медля, должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик, и велел тётке Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе всё равно никому не будет житья.

– Его бабы загрызут, – сказал он мрачно. – Я теперь за него не ручаюсь.

Военно-революционный комитет приказал разбить ренсковые погребя и спустить вина в Песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану.

– Рыба передохнет, – равнодушно, как взрослый, сказал Петька, – и всё одно – начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать!

Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тётя Даша и Сковородников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тётя Даша была мастер на все руки – вышивала рубашки, делала абажуры. Но кому нужны были теперь её абажуры? Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить своё хозяйство. Но, увлечшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем.

Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдаёт нас только на зиму, а летом мы непременно вернёмся. В приюте нас будут кормить, учить, оденут. Дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шапкой, чулки и кальсоны. Помню, как я спросил её:

– А что такое кальсоны?

Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте! Вообще они были «арестанты», и мы с ними дрались. И вот теперь я стану «арестантом»!

В тот же день я пошёл к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного – десять рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки – ещё десять. Итого – двадцать. С большими предосторожностями было вынесено из дому одеяло. С такими же предосторожностями оно было возвращено назад: никто не взял, хотя мы просили очень дёшево – кажется, четыре с полтиной. Как раз эти четыре с полтиной мы проели, пока таскались по рынку с одеялом. Итого – пятнадцать с полтиной.

Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. Я говорю – к счастью, потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почётном месте. Впрочем, одну – кажется, «Юрий Милославский» – удалось продать. Итого – шестнадцать.

Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнётся увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы сшили для него чехол из старого сапога. Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как-то неинтересно. Где достать револьвер?

Одно время мы надеялись, что военно-революционный комитет выдаст нам по нагану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку – не продаст ли нам своё оружие какой-нибудь дезертир?

После долгих поисков мы нашли то, что нам было нужно.

Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой – именно пятиствольный, я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти пять стволов нас поразили. Из такого как ахнешь! Продавал его не дезертир, а старая генеральша – это тоже внушало нам уважение. Словом, из шестнадцати рублей едва ли осталось бы больше трёх с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером.

Теперь я вижу, что нам всё-таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его (а у нас уже и порох был заготовлен), вместо маршрута Энск – Москва – Ташкент мы отправились бы по маршруту наш двор – Спасское кладбище.

Итак, решено было ограничиться холодным оружием.

Всё остальное было в полном порядке: ботинки крепкие, пальто целые, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по две пары.

Я был очень мрачен в этот день, и тётя Даша несколько раз принималась меня утешать. Бедная тётя Даша! Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на её кокоры! Завтра она должна была отвести нас с Саней в приют и целый день пекла нам «в дорогу» кокоры. Она пекла их целый день и всё снимала очки и сморкалась.

С меня она взяла торжественное обещание – не воровать, не курить, не грубить, не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться, – больше заповедей, чем в священном писании. Сестрёнке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту.

Разумеется, можно было просто уйти из дому – и поминай, как звали! Но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью.

Во-первых, мы должны были дать друг другу «кровавую клятву дружбы». Вот она:

«Кто изменит этому честному слову, – не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперёд – посылай назад, захочет идти налево – посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться».

По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в Соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью: «П. С.», то есть Пётр Сковородников. Я с трудом нацарапал: «А. Г.», то есть Александр Григорьев.

Во-вторых, я должен был лечь в десять часов и притвориться, что сплю, хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В три часа ночи Петька должен был свистнуть под окном три раза – условный сигнал: всё в порядке, дорога свободна, можно бежать.

Это было гораздо опаснее, чем днём, когда действительно всё было в порядке, дорога свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас могли сцапать караулы – город был на осадном положении, – собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но Петька приказал, и я повиновался. И вот наступил этот вечер – мой последний вечер в родном доме.

Тётя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают бельё, а всё-таки ещё одну, на всякий случай! Перед нею – лампа, на лампе – голубой абажур, подарок тёти Даши на мамину свадьбу. Теперь у него какой-то сконфуженный вид – как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах. Чайник висит над плитой,

а на тени – это не чайник, а чей-то огромный перевернутый нос. Из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тётя Даша шьёт и говорит. Она что-то берёт со стола, и светлый круг на потолке начинает дрожать. Десять часов. Я притворяюсь, что сплю.

– Ты, Саня, смотри, слушайся брата во всём, – говорит тётя Даша сестре. – Ты, как девочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст.

Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву! Петькин дядя встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселей. Паровоз стоит на далёких путях, чёрный человек подбрасывает уголь в топку, искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх и вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку – жарко, весело; выглянешь – и ветер свистит в ушах.

– А ты, Саня, – говорит мне тётя Даша, и я вижу, как слеза ползёт из-под очков и падает на мою рубашку, – береги сестру. Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день её навещать.

– Ладно, тётя Даша.

– Господи, боже ты мой! Была бы жива Аксинья...

Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берётся за работу, вздохнув.

Половина одиннадцатого. Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в белых цветах, а в тени, под цветами, ковры – синие, зелёные, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвём их сперва потихоньку, потом всё смелее. Больше некуда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах, он бросает апельсины в штаны. Вот старик с бородой ведёт нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене – кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые пашки в серебре. «Якши?» – говорит он и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и пашке.

– И читать научат, и писать, – слышу я сквозь сон и думаю: «Откуда же здесь тётя Даша?» – Может, и в люди выйдешь. Может, и нам ещё спасибо скажешь.

Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Половина двенадцатого. Двенадцать. Тётя Даша встаёт. В последний раз, в самый последний раз я вижу её доброе лицо над лампой, освещённое снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует – и темнота! Она крестит нас в темноте и ложится: сегодня она ночует у нас.

Хорошо притворяться, когда не хочется спать! Я с трудом открываю глаза. Который час? Ещё далеко до трёх. Пьяная песня доносится с реки. Галька накатывает на берег. А сигнала всё нет как нет, только ходики тикают да тётя Даша, вздыхая, ворочается с боку на бок.

Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю. Я слышу свист и не могу проснуться.

Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал всё время, пока я надевал сапоги, пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем-то велел мне поднять воротник пальто, и мы побежали.

Всё обошлось превосходно, никто нас не тронул – ни собаки, ни люди. Правда, на всякий случай мы версты три дали крюку по городскому валу. Дорогой я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд. Он отвечал, что уверен, – на худой конец доедем под лавкой. Две ночи – и Москва. Скорый поезд отходит в пять сорок.

Никакого поезда в пять сорок не было, когда, обойдя караулы, мы в полуверсте от станции махнули через забор. Тускло блестели мокрые чёрные рельсы, тускло горели на стрелках жёлтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя: могут забрать караулы. Вернуться домой?

В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик вылез из-под товарного состава и пошёл к нам навстречу по шпалам.

– Дяденька, – смело сказал ему Петька, – как отсюда в Москву: направо или налево?

Сцепщик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел: «Сейчас отправит в комендатуру».

– До Москвы, хлопцы, пятьсот вёрст.

– Ты только скажи, дяденька: направо или налево?

Сцепщик засмеялся:

– Налево.

– Спасибо, дяденька!.. Санька, пошли налево!

Глава 15

БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Все путешествия, когда путешественникам по одиннадцати – двенадцати лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать нашего путешествия из Энска в Москву.

Семь заповедей тёти Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили – иногда навоз, чтобы согреться. Мы ввали: то тётка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев – это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поездах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок какой-то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды.

– Очень странно... – сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами. – Экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно...

И всё же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Гаттерасу (Петька рассказывал мне о нём с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн), мы шли вперёд и вперёд. Мы шли вперёд не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну – солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву.

Как эта клятва помогала нам!

Однажды, подходя к Старой Руссе, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лёг на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил – всё было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил её на снег.

– Ты клятву давал, Санька! – сказал он. – Бороться и искать, найти и не сдаваться. Значит, ты теперь клятвопреступник? Сам говорил – клятвопреступник не получит пощады.

Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверческая, но одна старушка всё же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане.

Так от деревни к деревне, от станции к станции мы, наконец, добрались до Москвы.

Дорогой мы продали, променяли и проели почти всё, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога был продан, помнится, за два куса студня.

Непроданными остались только наши бумаги-клятвы, подписанные кровью «П. С.» и «А. Г.», и адрес Петькиного дяди.

Дядя! Как часто мы говорили о нём! В конце концов он стал представляться мне каким-то паровозным владыкой: борода по ветру, дым из трубы, пар из-под котла...

И вот, наконец – Москва! Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и прыгнули на рельсы. Москвы было не видеть, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве-Товарной, седьмое депо, ремонтная мастерская. Два часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда седьмое депо предстало перед нами – мрачное здание с тёмными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете седьмого депо мы узнали, что дядя уехал на фронт.

Всё кончено! Мы вышли и сели на эстакаду.

Прощайте, улицы, на которых растут апельсины, прощайте, ночи под открытым небом, прощайте, нож за опояской и кривая шашка в серебре!

На всякий случай Петька вернулся в комитет – спросить: не был ли дядя женат? Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком-то вагоне и так в этом вагоне и поехал на фронт.

Совсем рассвело, и Москва была теперь видна: дома, дома (мне казалось, что всё это – вокзалы), огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома.

Что делать?

Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались! Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуйам сгребать снег с панелей перед домами: была объявлена «трудовая повинность». Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках.

И вдруг всё переменялось...

Мы шли, помнится, по Божedomке, мечтая только об одном: встретить где-нибудь костёр; тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать! Снег, темнота, тишина! Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа, мы шли и молчали. Боюсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса донеслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашёл во двор, я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся.

– Айда! – радостно сказал он. – Пустили!

Глава 16

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

Хорошо спать, когда над головою крыша! Хорошо в двадцатиградусный мороз сидеть у «буржуйки», колоть и подкидывать дровишки, пока не загудит в трубе! Но ещё лучше, развешивая соль или муку, думать о том, что за работу нам обещан сам Туркестан. Мы попали в притон инвалидов-спекулянтов. Хозяин притона, хромой поляк с обваренной физиономией, обещал взять нас с собой в Туркестан. Оказывается, это не город, а страна; столица – Ташкент, тот самый Ташкент, куда каждые две – три недели ездят наши инвалиды.

Мы нанялись к этим жуликам паковать продукты. Жалованья мы не получали – только стол и приют. Но мы были рады и этому.

Если бы не хозяйка, жена хромого спекулянта, жизнь была бы просто недурна! Хозяйка нам до смерти надоела.

Толстая, с вытаращенными глазами, тряся животом, она прибежала в сарай, где мы паковали продукты, посмотреть, всё ли цело.

– Пфе! А, пфе! Як смеешь так робиць?

Робиць не робиць, а действительно это было не так просто – развешивая, например, свиной шпиг, не отщипнуть хоть маленький кусочек. Пилёный сахар сам застревал в руках и карманах. Но мы держались. Эх! Знали бы мы, что всё равно не видеть нам Туркестана, как своих ушей, – пожалуй, чего-нибудь и недосчиталась бы старая ведьма!

Однажды (мы работали в притоне уже третий месяц) она примчалась к нам в одном халате. В руках у неё был замок, которым наш сарай запирался на ночь. Вытаращив глаза, она остановилась на пороге, оглянулась и побледнела.

– Не биться, не стучаться, – прошептала она и схватилась за голову. – Не кричать! Молчать!

Мы и опомниться не успели, как, тяжело дыша, она задвинула засов, повесила замок и ушла.

Это было так неожиданно, что с минуту мы и точно молчали. Потом Петька выругался и лёг на пол. Я тоже лёг, и мы стали смотреть – под дверьми была узкая щель.

Сперва всё было тихо – пустой двор, подтаявший снег с жёлтыми, налившимися водой следами. Потом появились незнакомые ноги в чёрных крепких сапогах – одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор. Две пары пропали, третья осталась у крыльца. Рядом опустился приклад.

– Облава! – прошептал Петька и вскочил.

В темноте он стукнул меня головой, я прикусил язык. Но тут было не до языка.

– Нужно бежать!..

Кто знает, может быть, моя жизнь пошла бы другим путём, если бы мы захватили с собой верёвку. Верёвок было сколько угодно в сарае. Но мы вспомнили о них, когда были уже на чердаке. Сарай был каменный, с чердаком, крыша односкатная, и на задней стенке – круглое отверстие, выходившее на соседний двор.

Петька выглянул в это отверстие и оглянулся. Он расцарапал щёку, когда мы в темноте отдирали от потолка доски, и теперь поминутно вытирал кровь кулаком.

– Прыгнуть, что ли?

Но не так легко прыгнуть с высоты пяти – шести метров через небольшое отверстие в гладкой стене, – разве только как в воду, вниз головой. Нужно было вылезть в это отверстие ногами наружу, сесть, согнувшись в три погибели, и, оттолкнувшись всем телом, упасть вниз. Петька так и сделал. Я ещё думал, не вернуться ли за верёвкой, а он уже сидел в дыре. Обернуться он не мог. Он только сказал:

– Ничего, Саня, смелее!

И исчез. С упавшим сердцем я поглядел ему вслед. Ничего, он упал счастливо на мокрую кучу снега по ту сторону забора, подходившего в этом месте очень близко к сараю.

– Давай!

Я вылез и сел, сжимая колени. Весь соседний двор был теперь виден: маленькая девочка каталась на финских санках вдоль старинного с колоннами дома, ворона сидела на водосточной трубе. Вот девочка остановилась и с любопытством посмотрела на нас. Ворона тоже посмотрела, но равнодушно, и отвернулась, втянув голову между крыльев.

– Давай!

Кроме девочки и вороны, на дворе был ещё человек в кожаном пальто. Он стоял у того места, где наш флигель примыкал к чужому двору. Я видел, как он докурил папиросу, бросил её и спокойно направился к нам.

– Давай! – отчаянно крикнул Петька.

Всё вдруг пришло в движение, когда я стал слабо отталкиваться руками. Ворона вспорхнула, девочка испуганно попятилась. Петька опрометью кинулся к воротам, человек в кожаном пальто побежал за ним. Я всё понял в эту минуту. Но было уже поздно – я летел вниз.

Таков был мой первый полёт – вниз по прямой, с высоты пяти метров, без парашюта. Не могу сказать, что он был удачен. Я грудью ударился о забор, вскочил и снова упал. Последнее, что я ещё видел, был Петька, выскочивший на улицу и захлопнувший ворота перед самым носом человека в кожаном пальто.

Глава 17

ЛЯСЫ

Разумеется, это было очень глупо – бежать, когда мы ни в чём неРазумеется, это было очень глупо – бежать, когда мы ни в чём не виноваты. Ведь мы сами не спекулировали, только работали у спекулянтов. Нам бы ничего не сделали, только допросили бы и отпустили. Но теперь поздно было раскаиваться. Человек в кожаном пальто крепко держал меня за руку, мы шли куда-то – наверно, в тюрьму. Я попался, а Петька удрал. Я был теперь один. Вот уже вечер, солнце садится, галки медленно летят над деревьями вдоль Страстного бульвара... Я не плакал, но, должно быть, у меня было отчаянное лицо, потому что человек в кожаном пальто внимательно посмотрел на меня и разжал свою руку: понял, что не убегу.

Он привёл меня в просторный, светлый зал на шестом этаже огромного дома у Никитских ворот. Это был распределитель Наробраза, в котором я провёл три памятных дня...

У меня сердце упало, когда я увидел эти багровые морды. Одни, сидя на корточках вокруг глиняной печки, резались в карты; другие снимали с высоких окон длинные карнизы и тут же отправляли их в печку; третьи спали; четвёртые строили дом – дом из старых рам и полотен, сложенных как попало в углу. По ночам, когда в распределителе становилось холодней, чем на улице, эти домохозяева зажигали примус и пускали желающих в свой дом – кого за пару папирос, кого за кусок хлеба... И среди этого дикого развала на высоких постаментах стояли и равнодушно смотрели белыми, слепыми глазами гипсовые фигуры греческих богов – Аполлона, Дианы и Геркулеса.

Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось думают: «Дурак ты, дурак! Зачем ушёл из дому? Подумаешь, приют, – весной вернулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа! А теперь ты остался один – умрёшь, никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве да вздохнёт тяжело тётя Даша! Проси-ка, брат, одежду да вылетай домой!» В Наробразе меняли одежду – старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду.

Все три дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем нетрудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспризорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет. Я сидел в стороне и молчал.

И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи и ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как-то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпученные глаза и попробовал вылепить зайца. Разумеется, это было ещё очень плохо. Но что-то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мордочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту: никто не видел, что я леплю; старый вор, попавший каким-то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах «работают в паре». Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали заячьи уши, и не понимал, почему я волнуюсь...

Потом я вылепил коня с толстой расчёсанной гривой. Лясы! Конь старика Сковородникова – вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины.

Не знаю почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул весёлый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня. Помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку, помогут мне вернуться домой, а ему добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте, помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так

я молился – не богу, нет! Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты.

Пожалуй, другой мальчик – не такой безбожник, как я, – стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они помогли мне!

На другой день в распределитель явилась комиссия Отдела народного образования; распределитель был уничтожен отныне и на веки веков.

Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники – в колонии, нищие – по домам. В просторном зале мастерской живописи и ваяния остались только греческие боги – Аполлон, Геркулес и Диана.

– А это что? – спросил один из членов комиссии, лохматый, небритый юноша, которого все называли просто Шура. – Посмотрите-ка, Иван Андреевич, какая скульптура!

Иван Андреевич, тоже лохматый и небритый, но старый, надел пенсне и стал изучать лясы.

– Типичная русская игрушка из Сергиевского посада, – сказал он. – Интересно. Это кто сделал? Ты?

– Я.

– Как фамилия?

– Григорьев Александр.

– Учиться хочешь?

Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я всё-таки здорово натерпелся за эти месяцы голодной, уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо и отовсюду потекло – из глаз и из носу.

– Хочет... – сказал член комиссии Шура. – Куда бы нам его направить, Иван Андреевич, а?

– К Николаю Антонычу, по-моему, – ответил тот, осторожно ставя на подоконник моего зайца.

– А ведь верно! У Николая Антоныча есть этот уклон в искусство... Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антонычу?

– Шура, он его не знает. Запишите-ка лучше. Григорьев Александр... Сколько лет?

– Одиннадцать.

Я прибавил полгода.

– Одиннадцать лет. Записали? К Татаринову, в четвёртую школу-коммуна.

Глава 18

НИКОЛАЙ АНТОНЫЧ

Толстая девушка из Наробраза, чем-то похожая на тётю Дашу, оставила меня в длинной полутёмной комнате-коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернётся. Я был в раздевалке. Пустые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены – двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Энска я увидел себя. Вот так вид! Бледный мальчик с круглой стриженной головой уныло смотрел на меня – очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в наробразовской бане, но кое-где ещё остались тёмные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня ещё раз, длинные штаны болтались вокруг сапог.

Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антонычу. Это был полный бледный человек, лысеющий, с зачёсанными назад редкими волосами. Во рту у него блестел золотой зуб, и я, по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него не отрываясь.

Мы довольно долго ждали: Николай Антоныч был занят. Он разговаривал с ребятами лет по шестнадцати, обступившими его со всех сторон и что-то толковавшими наперебой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне каких-то волосатых гусениц – кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен...

– Тише, ребята, не всё сразу, – сказал Николай Антоныч. – Ну, Игорь, говори хоть ты.

Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, чёрного, курчавого, румяного, с чёрным пухом на щеках и под носом.

– Николай Антоныч! – торжественно сказал Игорь и покраснел. – Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в тринадцатое объединение и протестовать. Какая же это коммуна, если норму оставили, а членов прибавили? Кораблёв говорит, что это борьба за кашу. А мы считаем, что дело в принципе. Если мы – коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядова мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмём женскую гимназию Бржозовской.

Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все засмеялись.

– Вообще мы протестуем против оскорблений Кораблёва и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете.

– И останетесь в меньшинстве, – возразил Николай Антоныч и кивнул нам.

Мы подошли.

– Беспризорник?

– Нет.

– С Наробраза, – объяснила толстуха и положила на стол бумагу.

– Откуда ж ты, Григорьев? – читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Антоныч.

– Из Энска.

– А как сюда попал, в Москву?

– Проездом, – отвечал я.

– Вот как, милый! Куда же ты ехал?

Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже сто раз спрашивали, кто да откуда.

– Ну, мы с тобой ещё потолкуем. – Николай Антоныч написал что-то на обороте моей бумаги из Наробраза. – А не убежишь?

Я был уверен, что убегу. Но на всякий случай сказал:

– Нет.

Мы ушли. На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что-то, а Николай Антоныч, не слушая, задумчиво глядел мне вслед. О чём он думал? Уж, верно, не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день в образе заморыша с тёмными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея.

ЧАСТЬ 2

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Глава 1

СЛУШАЮ СКАЗКИ

«До первого тёплого дня», – иначе я и не думал. Спадут морозы – и до свиданья, только меня и видели в детском доме! Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чтения...

С утра мы ездили в пекарню за хлебом, потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое-кому пора уже было учиться в шестой.

Старенькая преподавательница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас... Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила.

Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка: какие у неё крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живёт и где её нет. На русском Серафима Петровна учила нас писать «у-т-к-а» и читала что-нибудь об утках из Брема. Мимоходом она сообщала нам, что по-немецки утка так-то, а по-французски так-то. Кажется, это называлось тогда комплексным методом. В общем, всё выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что-нибудь перепутала в этом методе. Она была старенькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой, так что мы, отвечая, всегда смотрели, который час.

Зато по вечерам она нам читала. От неё я впервые услышал сказку о сестрице Алёнушке и братце Иванушке.

*Солнце высоко,
Колодец далеко,
Жар донимает,
Пот выступает.
Стоит козлиное копытце
Полное водицы.*

«Али-Баба и сорок разбойников» в особенности поразили меня. «Сезам, отворись!» Я был очень огорчён, прочтя через много лет в новом переводе «Тысячи одной ночи», что нужно читать не Сезам, а Сим-Сим, и что это какое-то растение, кажется конопля. Сезам – это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это просто конопля!

Без преувеличения можно сказать, что я был потрясён этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна.

В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормят да ещё учат. Не скучно, во всяком случае не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо – наверно, потому, что я был маленького роста.

В первые же дни я подружился с двумя хулиганами, и мы не теряли свободного времени даром.

Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи жёлтые космы. Нос у него был приплюснутый,

глаза неестественно круглые, подбородок квадратный – довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило.

Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик со множеством планов. То он собирался поступить в Зоологический сад учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному делу. В пекарне ему хотелось быть пекарем; из театра он выходил с твёрдым намерением стать актёром. Впрочем, у него были и смелые мысли.

– А что, если... – начинал он задумчиво.

– ...землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти, – язвительно подхватывал Ромашка.

– А что, если...

– ...живую мышь проглотить...

Валька любил собак. Все собаки по Садово-Триумфальной относились к нему с большим уважением.

Но всё же Валька – это был только Валька, а Ромашка – Ромашка. До Петьки и тому и другому было далеко.

Не могу передать, как я скучал без него.

Я обошёл все места, по которым мы бродили, спрашивал о нём у беспризорников, дежурил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроившись в каком-нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает!

Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная, снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площадях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где-то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и раскрашенный.

Художники-футуристы намалёвывали странные картины на его стенах – людей с зелёными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты Роста:

*Ешь ананасы,
Рябчиков жуй, —
День твой последний
Приходит, буржуй.*

Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал.

Глава 2 ШКОЛА

Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Наробраза, наш детский дом был чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит.

А я всё чаще оставался дома. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходила перед моими глазами. Это была непонятная, загадочная, сложная жизнь. Я толкался среди старшеклассников, прислушивался к разговорам. Новые отношения, новые мысли, новые люди. На Энск всё это было так же не похоже, как самый Энск не похож на Москву. Я долго ничего не понимал, удивляясь всему без разбора. Но вот как представляется мне четвёртая трудовая школа теперь.

Ещё недавно в большом красном здании на Садово-Триумфальной помещалась гимназия Пестова. При ней был открыт маленький детский дом – наш дом. Зимой девятнадцатого года гимназия Пестова была слита с реальным училищем Лядова, а весной – с женской гимназией Бржозовской.

Мои читатели не учились до революции в средней школе и, без сомнения, не помнят, с каким презрением относились друг к другу гимназисты и реалисты. Не знаю, на чём была основана эта вражда, но ещё в Энске до меня доходили интересные слухи о страшных драках на катке, о благородных силачах-гимназистах, о подлецах-реалистах, выходивших на бой, зажав в кулаке запрещённую правилами чести «свинчатку». Теперь в Москве я увидел всё это своими глазами.

Пестовские гимназисты были самые отпетые сорвиголовы во всей Москве – недаром в эту гимназию без экзамена принимали всех исключённых из других гимназий. Напротив, у Лядова учились главным образом благовоспитанные сыновья крупных чиновников, инженеров, педагогов. Вражда была, стало быть, не только профессиональная, но и социальная. Она устроилась, когда между наследственными врагами декретом Наробраза была поставлена женская гимназия Бржозовской.

Сколько поводов для ссор, для заговоров, для сплетен! Сколько речей на собраниях, сколько писем с объяснениями, сколько тайных и явных столкновений! Детский дом был в стороне – на нас никто не обращал внимания. Но легко угадать, кто были наши герои. Пестовские! Мы старались даже носить шапки, как они, – с проломом справа.

Из четвёртой школы-коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в девятнадцатом году, что это была за каша! Кстати, именно каша – иногда маисовая, иногда пшённая – в значительной степени определяла школьные интересы и лядовцев и пестовцев. Её привозили на санях, в огромном котле, бережно закутанную, похожую на старую бабушку, и так в санях и несли наверх, в актовый зал. Хозяйственная комиссия в лице «тёти Вари» – так все называли румяную, толстую девочку с толстой косой – уже расхаживала за прилавком с поварёшкой в руке. Выстраивалась очередь, и каждый, без различия формы, возраста и происхождения, получал по ложке ещё горячей каши, дьявольски вкусной, с лопающимися пузырьками.

Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены.

Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос: заниматься или не заниматься? Лохматый пестовец, которому все кричали: «Браво, Кавычка!», доказы-

вал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а отметки выставлять большинством голосов.

– Браво, Кавычка!

– Правильно!

– И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроки приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайка не давать.

– Правильно!

– Дурак!

– Долой!

– Браво!

Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешёптываться, подталкивать друг друга: в дверях, скрестив руки и внимательно слушая оратора, стоял высокий, ещё не старый человек с пушистыми усами.

– Это кто? – спросил я тётю Варю, которая, ожидая приезда каши, с поварёшкой в руке разгуливала по коридору.

– Это, брат, Усы, – ответила тётя Варя.

– Как – усы?

– Эх, ты, не знаешь!

Скоро я узнал, кого в четвёртой школе называли «Усы».

Это был учитель географии Кораблёв, которого ненавидела вся школа. Во-первых, он явился неизвестно откуда – не лядовский, не бржозовский, не пестовский. Во-вторых, он, по общему мнению, был дурак и ничего не знал. В-третьих, он каждый день приходил на уроки и сидел положенные часы, хотя бы в классе было три человека. Это уж решительно всех возмущало...

– Теперь так, товарищи, – продолжал Кавычка, пытаясь в ораторском пылу застегнуть пальто, на котором не было ни одной пуговицы. – От пятого класса в школьном совете один человек – я. Это неправильно. Мне одному трудно бороться за интересы пятого класса. Нас считают младшеклассниками. А посмотрите, кто в сто сорок четвёртой председатель школьного коллектива? Мухомеров. Какого класса? Пятого! Вообще, если на то пошло, нужно сперва доказать, что мы младшеклассники, а потом говорить. А как старший класс мы должны иметь двух представителей. Один – я, другого предлагаю Фирковича!

– Гладильщикова!

– Недодаева!

– Галая!

Я посмотрел на Кораблёва. Должно быть, я выпучил глаза, потому что он вдруг передразнил меня – впрочем, едва заметно. Мне показалось, что он улыбается под усами. Но Кавычка снова заговорил, и Кораблёв, отведя от меня лукавый взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием.

Глава 3

СТАРУШКА ИЗ ЭНСКА

Этот день я помню отлично – солнечный, с весенним то набегающим, то проходящим дождём, – день, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку в зелёном бархатном пальто-салопе. Она несла полный кошель всякой всячины – картошки, щавеля, луку, а в другой руке – большой зонтик. Видно было, что кошель тяжёл для неё, но она шла с бодрым, озабоченным видом и всё считала шёпотом, я слышал: «Грибы, полфунта – пятьсот рублей; синька – полтора; свёкла – полтора; молоко, кружка – полтора; поминанье – семьсот шестьдесят рублей; яйца, три штуки, – триста рублей; исповедь – пятьсот рублей». Тогда были такие деньги.

Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень – отдышаться. – Бабушка, давайте помогу, – сказал я ей.

– Пошёл прочь, шалопут! Знаю я вас! Третий лимон до дому донести не могу.

Она энергично погрозила мне и взялась за кошель.

Я отошёл. Но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверно, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для неё трудно-вато.

– Бабушка, если вы думаете – я у вас украду, – сказал я, – пожалуйста, я бесплатно помогу. Вот те крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете.

Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы:

– Как же, поверила! Третий лимон унесли. Знаю я вас!

– Как хотите. У вас беспризорные унесли, а я детдомовский.

– Вот детдомовские-то и разбойники.

Она посмотрела на меня, я – на неё. У неё нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая-то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго:

– Ты чей?

– Ничей.

– А откуда? Московский?

Я сразу понял, что, если скажу – московский, она меня прогонит. Наверно, она думала, что это московские у неё лимоны украли.

– Нет, я из Энска.

Факт, она тоже была из Энска. У неё глаза засияли, а лицо стало ещё добрее.

– Врёшь ты, вралькин! – сказала она сердито. – Мне тоже один говорил – не московский. А посмотрела – и нет лимона... Если ты из Энска, где там жил?

– На Песчинке, за Базарной площадью.

– И всё врёшь... – Она видела, что я не вру. – Мало ли что Песчинка. Может, ещё где-нибудь такая река есть. Я тебя не помню.

– Вы, наверно, давно уехали, я ещё маленький был.

– Нет, не давно, я недавно... Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дёргай.

Мы несли кошель и разговаривали. Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом.

– Вот тебе! Умники! Шагать пошли! Шагала какие! Придумали!

На Триумфальной я показал ей нашу школу.

– Совсем земляки, – загадочно сказала старушка.

Она жила на 2-й Тверской-Ямской в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом.

- Здесь наш заведующий живёт, – сказал я. – Может, вы его знаете – Николай Антоныч.
- Вот что! – отвечала старушка. – Ну, как он? Хороший заведующий?
- Что надо!

Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на второй этаж и остановились перед чистой, обитой клеёнкой дверью. На двери была дощечка, на дощечке – затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать.

Шепча что-то, старушка вынула из салопя ключ. Я хотел уйти, она удержала.

– Я просто так, бабушка, бесплатно.

– Вот бесплатно и посиди.

Она вошла почему-то на цыпочках в маленькую переднюю и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, ещё одну шаль, поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом пропала. Как раз в эту минуту какая-то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что это моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки.

– А вот и Катерина Ивановна, – сказала старушка.

Катерине Ивановне было лет двенадцать – не больше, чем мне. Но куда там! Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо тёмными живыми глазами. У неё были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась – это было видно с первого взгляда.

– Поздравляю, Катерина Ивановна, – всё ещё раздеваясь, сказала старушка, – опять лимон утащили.

– Потому что я говорила, что нужно в пальто класть! – с досадой сказала Катерина Ивановна.

– О! В пальто! Из пальто-то и утащили.

– Значит, ты, бабушка, опять считала.

– Ничего я не считала. Вот со мной и кавалер шёл.

Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала.

– Он мне кошёлку донёс... Как мама?

– Сейчас мерим, – спокойно разглядывая меня, сказала девочка.

– Ах ты, господи! – вдруг всполошилась старушка. – Да что же так поздно-то? Ведь доктор велел в двенадцать мерить.

Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго:

– «Елену Робинзон» читал?

– Нет.

– А «Робинзона Крузо»?

– Тоже нет.

– Почему?

Я чуть не сказал, что только с полгода как научился читать, но вовремя удержался.

– У меня нету.

– Ты в каком классе?

– Ни в каком.

– Он – путешественник... – вернувшись, сказала старушка. – Тридцать семь и две... Он пешком в Туркестан шёл. Ты его не обижай, Катя.

– Как – пешком?

– А вот так. Ноги в руки, и валяй-шагай.

В передней стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала:

– Ну, рассказывай.

Мне не хотелось ей рассказывать: уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо:

– Чего там, неохота. В другой раз.

Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался:

– Сказано – бесплатно, значит – бесплатно.

Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катя покраснела, когда я не стал рассказывать и пошёл к дверям.

– Ну ладно, не сердись, – провожая меня, сказала старушка. – Как тебя звать?

– Григорьев Александр.

– Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо.

Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. Казаринов – не Казаринов...

– Н. А. Татаринов, – вдруг прочёл я.

Вот так штука! Татаринов Николай Антоныч. Наш заведующий. Это его квартира.

Глава 4

БЫЛО НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Лето мы провели в Серебряном бору, в старинном, заброшенном доме с маленькими лестницами-переходами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно кончавшимися глухой стеной. Всё в этом доме скрипело: двери по-своему, ставни по-своему. Одна большая комната была заколочена наглухо. Но и там что-то поскрипывало, шуршало, и вдруг начинался мерный дребезжащий стук, как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке росли дождевики, иностранные книги валялись с вырванными страницами, без переплётов.

До революции дом принадлежал старой цыганке-графине. Цыганка-графиня! Это было загадочно. По слухам, она перед смертью замуровала клад. Ромашка искал его всё лето. Хилый, с большой головой, он ходил по дому с палочкой, стучал и прислушивался. Он стучал и по ночам, пока кто-то из старших не дал ему по шее. В тринадцать лет он твёрдо решил разбогатеть. Его бледные уши начинали пылать, когда он говорил о деньгах. Это был врождённый искатель кладов – суеверный и жадный.

Персидская сирень густо росла вокруг развалившихся беседок. Вдоль зелёных дорожек стояли статуи. Они были не похожи на греческих богов. Те – равнодушные, с белыми, слепыми глазами. А эти – как мы, такие же люди.

Одна статуя была с усами, вроде Кораблёва, другая – обыкновенная девочка лет десяти. Она стояла в длинной, до пят, рубашке, потягивалась, тёрла кулаками глаза, как будто только что встала с постели.

Я попробовал вылепить её, и ничего не вышло. Вышли только косы колечками и такие же колечки на лбу, как у Катерины Ивановны, той девчонки с задранном носом. Пожалуй, вышел и нос. Но всё-таки людей не так просто было лепить, как жаб и зайцев.

Такая хорошая жизнь была только в начале лета, едва мы переехали в Серебряный бор. Потом жизнь стала похуже, нас почти перестали кормить. Весь детдом перешёл на «самоснабжение». Мы ловили рыбу, раков, у стадиона в дни состязаний продавали сирень, а то и попросту таскали всё, что попадало под руку. По вечерам мы разводили в саду костры и жарили добычу.

Вот один такой вечер – они были все как один.

Мы сидим у костра, усталые, голодные и злые. Всё черно от дыма – манерка, рогатки, на которых она висит, наши лица, руки. Как индейцы, готовые съесть капитана Кука, мы молчим и смотрим на огонь. Головешки вдруг вспыхивают и рассыпаются, тёмно-красный дым стоит над костром клубящейся шапкой.

Мы – это «коммуна». Весь детдом делится на «коммуны»: в одиночку трудно добывать «снабжение». У каждой «коммуны» свой председатель, свой костёр и свои запасные фонды – то, что по каким-либо причинам не съедено сегодня и осталось на завтра.

Наш председатель – Стёпка Иванов, пятнадцатилетний парень с гладкой мордой, обжора и подлец, которого все боятся...

– Сыграли в «ошички»? – лениво говорит Стёпа. Все молчат. Никому неохота играть в «ошички».

Стёпка сыт, вот ему и охота.

– Ладно, Стёпа. Только ведь темно, – говорит Ромашка.

– Знаешь, где темно? Вставай!

Больше всего на свете наш председатель любит играть в «ошички». По-нашему, это «козоты», или «бабки». Биток у него жульнический, все это знают. Но все, кроме меня и

Вальки, подлизываются к нему, в особенности Ромашка. Ромашка даже нарочно проигрывает ему, чтобы Стёпка его не обидел.

Не следует думать, что мы жарим тонкую дичь на нашем костре. В манерке, с бою захваченной на кухне, варится суп. Это настоящий «суп из колбасной палочки», как в сказке, которую зимой читала нам Серафима Петровна. Разница, может быть, только в том, что тот суп был сварен из мышиного хвоста, а мы клали в свой суп всё, что попадалось под руки, случилось, что и лягушечьи лапки.

Но вот дверь нашего дома распахивается, и на веранду выходит низенький толстяк в широкополой шляпе.

– Дядя Петя, к нам!

– Сюда, дядя Петя!

Это Пётр Андреевич Лопухов, наш повар. Пошатываясь – не от воды – и мурлыча под нос отрывки из оперных арий, он обходит «коммуны». Пробует из каждого котелка, сплёвывает и говорит с отвращением:

– А! Отрава.

Он – меломан, то есть любитель музыки и пения. Все оперы он знает наизусть. Для него нет большего наслаждения, как изобразить какую-нибудь сцену из «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы», а для нас нет большего наслаждения, как послушать его и выразить своё восхищение:

– Здорово! Не хуже Шаляпина! Дядя Петя, почему ты в артисты не идёшь?

– Боюсь.

– Чего, дядя Петя?

– Засосёт.

Вот он останавливается у нашего костра, пробует, сплёвывает, и начинается длинный рассказ о том, как ели в былые времена, очень давно, лет сто тому назад или даже двести. Он не только меломан, но ещё и историк, знаток старинных блюд, заячьих соусов и оленьих грудинок.

– Королевская яичница, – загадочным шёпотом говорит он. – Возьми желтки из восемнадцати яиц, смешай с бисквитом, прибавь горького миндаля, сливок, сахару и пеки в масле. Едал?

Мы отвечаем хором:

– Не едал!

Но сам повар из всех блюд предпочитает одно, называемое «водки выпить». Он наш единственный руководитель летом двадцать первого года. Серафима Петровна растерялась, никто не обращает на неё никакого внимания. По дому бродят ещё какие-то няни, с поваром они на ножах: им почему-то невыгодно, что он выдаёт нам паёк в сухом виде. Словом, если бы не повар, мы бы все разбежались.

Итак, он стоит у нашего костра и рассказывает, как ели в старину. Иногда он перебивает себя медицинскими примечаниями:

– Щука не всякому полезна. Отягчает желудок.

Или:

– Карп жидит кровь. Здоровая рыба.

Но вот он снимает нашу манерку и нюхает пар. Случается, что, понюхав пар, он говорит не «отрава», а «могила» и выплёскивает суп в кусты. Что же он скажет на этот раз? Нюхает, поднимает глаза к небу, молчит...

– Отрава!

Семь голов склоняются над манеркой, семь ложек по очереди лезут за супом. Едим!

Нельзя сказать, чтобы мы поправились к осени на таком рационе. Кроме Стёпы Иванова, который, как страус, мог переварить что угодно, мы худели, болели и чувствовали себя очень плохо.

И всё же это было хорошее лето. Оно запомнилось мне, и вовсе не потому, что нас плохо кормили. Не привыкать – я в ту пору ничего хорошего ещё и не ел за всю свою жизнь. Нет, я запомнил это лето по другой причине. Впервые я почувствовал к себе уважение.

Этот случай произошёл в конце августа, незадолго до нашего возвращения в город, и как раз у костра, когда мы готовили ужин. Стёпа вдруг объявил новый порядок выдачи пищи. До сих пор мы ели по очереди – ложка за ложкой. Стёпа начинал как председатель, за ним – Ромашка и так далее. А теперь будем наваливаться все сразу, пока суп не остыл, и кто скорее.

Никому не понравился новый порядок. Ещё бы! С таким председателем это был верный гроб. Он мог в три приёма выхлебать всю манерку.

– Не выйдет! – решительно объявил Валька.

Мы одобрительно загалдели. Стёпа медленно встал, почистил колени и ударил Вальку в лицо. Он страшно ударил его – кровь сразу залила всё лицо и, должно быть, попала в глаза, потому что Валька, как слепой, замахал руками.

– Ну, – лениво сказал Стёпа, – кому ещё охота?

Я был самый маленький в «коммуне», и он, конечно, мог уложить меня одной рукой, но всё-таки я ударил Стёпу. И Стёпа вдруг зашатался и сел. Не знаю, куда я ему угодил, но, хлопая глазами, он сидел на земле с каким-то задумчивым видом. Правда, он быстро опомнился, кинулся на меня, но тут уж ребята не дали меня в обиду. Стёпа был избит, как собака. Пока он лежал за костром и выл, мы поспешно выбрали другого председателя – меня. Стёпа, разумеется, не голосовал, но всё равно он оказался бы в меньшинстве, потому что меня выбрали единогласно.

Забегая вперёд, могу сказать, что я был неплохим председателем. Когда голод кончился и мы зимой вступили в пионеры, наша «коммуна» стала лучшим звеном в школе. Первое, отчаянное, боевое звено «Чапаев».

Как ни странно, но это мордобитие было моим первым общественным делом. Я слышал, как ребята говорили про меня: «Слабый, а смелый». Я – смелый! Вообще, какой я? Было над чем подумать.

Глава 5

ЕСТЬ ЛИ В СНЕГУ СОЛЬ?

Ничего не переменилось в школе за этот год. По-прежнему ссорились бывшие лядовцы с бывшими пестовцами, по-прежнему привозили в санях закутанную, как бабушка, кашу. По-прежнему в десять часов утра Кораблёв появлялся в школе.

Он приходил в длинном осеннем пальто, в широкополой шляпе, не торопясь причёсывал перед зеркалом усы и шёл на урок.

Однако теперь его уже нельзя было лишить пайка, как предлагал в прошлом году Кавычка: на его уроках было теперь больше пяти человек. Он никого не спрашивал, ничего не задавал на дом. Он просто рассказывал что-нибудь или читал. Оказывается, он был путешественником и объездил весь мир. В Индии он видел йогов-фокусников, которых на год зарывали в землю, а потом они вставали живёхонькими, как ни в чём не бывало; в Китае ел самое вкусное китайское блюдо – гнилые яйца; в Персии видел шахсей-вахсей – кровавый мусульманский праздник.

Лишь через несколько лет я узнал, что он никогда не выезжал из России. Он всё выдумывал, но как интересно! Хотя многие ещё утверждали, что он – дурак, но теперь уже нельзя было сказать, что он ничего не знает...

По-прежнему первым лицом в четвёртой школе был наш заведующий Николай Антоныч. Он всё решал, во всё входил, присутствовал на всех собраниях. Старшеклассники ходили к нему на дом «выяснять отношения». Споры между лядовцами и пестовцами он решал в десять минут, и самые отпетые подчинялись без возражений. Любой школьник – от первого до последнего класса – мог явиться к нему поговорить о своих делах. «Я скажу Николаю Антонычу», «Мне велел Николай Антоныч», «Меня послал Николай Антоныч» – то и дело слышалось в нашей школе.

Наконец и мне случилось произнести эти четыре слова.

Накануне я стал школьником. Детский дом был «подвергнут испытаниям», и меня послали во второй класс. Думая о том, как отнестись к этому событию – не махнуть ли на Москву-реку или на Воробьёвы горы, – я слонялся по актовому залу, когда дверь из учительской приоткрылась и Николай Антоныч поманил меня пальцем.

– Григорьев, – сказал он припоминая. (Он славился тем, что всю школу знал по фамилиям.) – Ты знаешь, где я живу?

Я отвечал, что знаю.

– А что такое лактометр, знаешь?

Я отвечал, что не знаю.

– Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, – Николай Антоныч поднял палец, – что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды. Понял?

– Понял.

– Вот ты мне его и принеси.

Он написал записку.

– Да смотри не разбей. Он стеклянный.

– Не разобью, – отвечал я с жаром.

Записку было велено передать Нине Капитоновне.

Я и не подозревал, что так зовут старушку из Энска. Но открыла мне не старушка, а незнакомая худенькая женщина в чёрном платье.

– Что тебе, мальчик?

– Меня послал Николай Антонович.

Эта женщина была, разумеется, Катькина мама и старушкина дочка. У всех троих были одинаковые решительные носы, одинаковые глаза – тёмные и живые. Но внучка и бабушка смотрели веселее. У дочки был печальный, озабоченный вид.

– Лактометр? – с недоумением сказала она, прочитав записку. – Ах, да!

Она зашла в кухню и вернулась с лактометром в руке. Я был разочарован. Просто градусник, немного побольше.

– Не разобьёшь?

– Что вы, – сказал я с презрением, – разобью...

Я отлично помню, что смелая мысль – проверить лактометр на снежную соль – явилась приблизительно через две минуты после того, как предполагаемая Катькина мама захлопнула за мной дверь.

Я только что спустился с лестницы и стоял, крепко держа прибор в руке, а руку в кармане. Ещё Петька говорил, что в снегу есть соль. Может лактометр показать эту соль или Петька наврал? Вот вопрос. Нужно было проверить.

Я выбрал тихое место – за сараем, рядом с помойной ямой. Домик из кирпичей был сложен на притоптанном снегу; от домика за сарай уходила на колышках чёрная нитка – должно быть, ребята играли в полевой телефон. Я зачем-то подышал на лактометр и с бьющимся сердцем сунул его рядом с домиком в снег. Судите сами, что за каша была у меня в голове, если через некоторое время я вынул лактометр и, не находя в нём никакой перемены, снова сунул в снег, на этот раз вниз головой.

Кто-то ахнул поблизости. Я обернулся.

– Беги, взорвёшься! – закричали в сарае.

Это произошло в две секунды. Девочка в расстёгнутом пальто вылетает из сарая и опрометью бежит ко мне. «Катька», – думаю я и на всякий случай протягиваю руку к прибору. Но Катька хватает меня за руку и тащит за собой. Я отталкиваю её, упираюсь, мы падаем в снег. Трах! Осколки кирпича летят в воздух, сзади белой тучей поднимается и ложится на нас снежная пыль.

Однажды я уже был под обстрелом – когда хоронил мать. Но тут было пострашнее. Что-то долго грохало и рвалось у помойной ямы, и каждый раз, когда я поднимал голову, Катька вздрагивала и спрашивала: «Здорово? А?»

Наконец я вскочил.

– Лактометр! – заорал я и со всех ног побежал к помойке. – Где он?

На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма.

– Взорвался!

Катька ещё сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели.

– Балда, это гремучий газ взорвался, – сказала она с презрением. – А теперь лучше уходи, потому что сейчас придёт милиционер – один раз уже приходил – и тебя сцапает, а я всё равно удеру.

– Лактометр! – повторил я с отчаянием, чувствуя, что губы не слушаются и лицо начинает дрожать. – Николай Антоныч послал меня за ним. Я положил его в снег. Где он?

Катька встала. На дворе был мороз, она без шапки, тёмные волосы на прямой пробор, одна коса засунута в рот. Я тогда на неё не смотрел, потом припомнил.

– Я тебя спасла, – сказала она и задумчиво шмыгнула носом, – ты бы погиб, раненный напавал в спину. Ты мне обязан жизнью... Что ты тут делаешь, около моего гремучего газа?

Я ничего не отвечал. У меня горло перехватило от злости.

– Впрочем, знай, – торжественно добавила Катька, – что, если бы даже кошка подседала к газу, я бы всё равно её спасла – мне безразлично.

Я молча пошёл со двора. Но куда идти? В школу теперь нельзя – это ясно.

Катька догнала меня у ворот.

– Эй ты, Николай Антоныч! – крикнула она. – Куда пошёл? Жаловаться?

Я обернулся. Ох, с каким наслаждением я дал бы ей по шее! За всё сразу: за погибший лактометр; за вздёрнутый нос; за то, что я не мог вернуться в школу; за то, что она меня спасла, когда её никто не просил.

Впрочем, и она не зевала. Отступив на шаг, она двинула меня в подвздох. Пришлось взять её за косу и сунуть носом в снег. Она вскочила.

– Ты неправильно подножку подставил, – сказала она оживлённо. – Если бы не подножка, я бы тебе здорово залепила. Я у нас в классе всех мальчишек луплю... Ты в каком?.. Это ты бабушке кошёлку нёс?.. Во втором?

– Во втором, – ответил я с тоской.

Она посмотрела на меня.

– Подумаешь, градусник разбил! – сказала она с презрением. – Хочешь, скажу, что это я? Мне ничего не будет. Подожди-ка.

Она убежала и через несколько минут пришла в шапочке, уже другая, важная, с ленточками в косах.

– Я бабушке сказала, что ты приходил. Она спит. Она говорит: что же ты не зашёл? Она говорит: хорошо, что лактометр разбился, а то было мученье каждый раз его в молоко пихать. Он всё равно неверно показывал. Это Николая Антоныча выдумки, а бабушка всегда на вкус скажет, хорошее молоко или нет...

Чем ближе мы подходили к школе, тем всё важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь.

Николай Антоныч был в учительской, там, где я его оставил.

– Ты не говори, я сам, – пробормотал я Катьке.

Она презрительно фыркнула; одна коса торчала из-под шапки дугой.

Именно с этого разговора начались загадки, о которых я расскажу в следующей главе.

Дело в том, что Николай Антоныч, тот самый важный и снисходительный Николай Антоныч, которого мы привыкли считать неограниченным повелителем четвёртой школы, исчез куда-то, как только Катька переступила порог. Новый Николай Антоныч, разговаривая, неестественно улыбался, наклонялся через стол, широко открывал глаза, поднимал брови, как будто Катька говорила бог весть какие необыкновенные вещи. Боялся он её, что ли?

– Николай Антоныч, вы посылали его за лактометром? – небрежно, показав на меня глазами, спросила Катька.

– Посылал, Катюша.

– Правильно. А я его разбила.

У Николая Антоныча сделалось серьёзное лицо.

– Врёт, – мрачно сказал я, – он взорвался.

– Ничего не понимаю. Молчи, Григорьев!.. Объясни, в чём дело, Катюша.

– Дело ни в чём, – гордо закинув голову, отвечала Катька. – Я разбила лактометр, вот и всё.

– Так, так, так. Но, кажется, я послал этого мальчика, правда?

– А он не принёс, потому что я разбила.

– Врёт, – снова сказал я.

Катька грозно стрельнула в меня глазами.

– Хорошо, Катюша, допустим, – Николай Антоныч умильно сложил губы. – Но вот, видишь ли, в школу привезли молоко, и я задержал завтрак, чтобы определить качество этого продукта и в зависимости от этого качества решить, будем ли мы и в дальнейшем брать его у наших поставщиц или нет. Выходит, что я дожидался напрасно. Больше того: выходит, что ценный прибор разбит, да ещё при невыясненных обстоятельствах... Теперь ты объясни, Григорьев, в чём дело.

– Вот скучища! Я пойду, Николай Антоныч, – объявила Катька.

Николай Антоныч посмотрел на неё. Не знаю почему, но мне показалось в эту минуту, что он её ненавидит.

– Хорошо, Катюша, иди, – ласково сказал он. – А с этим мальчиком мы ещё потолкуем.

– Тогда я подожду.

Она уселась и нетерпеливо грызла косу всё время, пока мы разговаривали. Пожалуй, если бы она ушла, разговор не кончился бы так мирно. Лактометр был прощён. Николай Антоныч припомнил даже, что я был направлен в его школу как будущий скульптор. Катька прислушивалась с интересом.

С этого дня мы с ней подружились. Ей понравилось, что я не дал ей взять вину на себя, а когда рассказывал, как-то вывернулся и ничего не сказал о гремучем газе.

– Ты думал, что мне влетит, да? – спросила она, когда мы вышли из школы.

– Ага.

– Как бы не так!.. Приходи, тебя бабушка звала.

Глава 6

ИДУ В ГОСТИ

Утром я проснулся с этой мыслью – идти или нет? Две вещи смущали меня: штаны и Николай Антоныч. Штаны были действительно неважные – ни короткие, ни длинные, заплатанные на коленях. А Николай Антоныч был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнёт спрашивать: почему да зачем? Но всё-таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости!

Как неловко я чувствовал себя, как стеснялся! Проклятые волосы всё время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что-то рассказывала нам с Катей и вдруг строго приказала мне:

– Закрой рот!

Я засмотрелся на неё и забыл закрыть рот.

Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой – Николай Антоныч, а третья была столовая. У Николая Антоныча стоял на письменном столе прибор «из жизни богатыря Ильи Муромца», как объяснила мне Катя. Действительно, чернильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница – две скрещённые древнерусские рукавицы, и так далее. Под шишаком находились чернила, и, стало быть, Николаю Антонычу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным.

Между окнами помещался книжный шкаф; я никогда ещё не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами.

Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а ещё поменьше – в Катиной комнате над маленькой кроватью.

– Отец, – поглядев на меня исподлобья, объяснила Катя.

А я-то думал, что Николай Антоныч её отец! Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени и отчеству. «Отчим», – подумал я и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже.

Потом Катя показала мне морской компас – очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом – стрелка. Куда ни повернёшь чашечку, хоть вверх ногами, всё равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север.

– Такому компасу любая буря нипочём.

– Откуда он у тебя?

– Отец подарил.

– А где он?

Катя нахмурилась:

– Не знаю.

«Развёлся и бросил мать», – немедленно решил я. Мне такие факты были известны.

Я заметил, что в квартире много картин, и, на мой взгляд, очень хороших. Одна – особенно чудная: была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосны, освещённые солнцем.

– Это Левитан, – небрежно, как взрослая, сказала Катя.

Я тогда не знал, что Левитан – фамилия художника, и решил, что так называется место, нарисованное на картине.

Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином.

– Ну, Александр Григорьев, вот ты какой, – сказала она, – лактометр разбил.

Она попросила меня рассказать про Энск, как и что. Даже про почту спросила:

– А почта что?

Она рассердилась, что я не слышал про каких-то Бубенчиковых.

– Сад у еврейской молельни! Вот уж! Не слышал! А сам, наверно, сто раз яблоки таскал... – Она вздохнула. – Давно мы оттуда. Я не хотела переезжать, вот уж не хотела! Всё Николай наш Антоныч. Приехал – ждите, говорит, или не ждите, теперь всё равно. Оставим адрес, – если нужно, найдут нас. Вещи все продали, вот только и осталось, – и сюда, в Москву.

– Бабушка! – грозно сказала Катя.

– Что – бабушка?

– Опять?

– Не буду. Пускай! Нам и тут хорошо.

Я ничего не понял – кого они ждали и почему теперь всё равно. Но спрашивать я, понятно, не стал, тем более что Нина Капитоновна сама заговорила о другом...

Так я провёл время в квартире нашего зава на 2-й Тверской-Ямской.

На прощанье я получил от Кати книгу «Елена Робинзон», а в залог оставил честное слово – переплёт не перегибать и страницы не пачкать.

Глава 7 ТАТАРИНОВЫ

Татариновы жили без домработницы, и Нине Капитоновне, особенно в её годы, приходилось довольно трудно. Я помогал ей. Мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Страшный враг моли, она вдруг, без всякой причины, принималась развешивать вещи во дворе – и тут без меня не обходилось. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отработывал те обеды из воблы и пшена, которыми угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды! Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем-то вроде пещеры Али-бабы с её сокровищами, опасностями и загадками. Старушка была для меня сокровищем, Марья Васильевна – загадкой, а Николай Антоныч – опасностями и неприятностями.

Марья Васильевна была вдова, а может быть, и не вдова: однажды я слышал, как Нина Капитоновна сказала про неё со вздохом: «Ни вдова, ни мужняя жена». Тем более странно, что она так убивалась по мужу. Всегда она ходила в чёрном платье, как монашка. Она училась на медицинском факультете. Тогда это мне казалось странным: мамам, по моим понятиям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать, никуда не шла: ни в университет, ни на службу (она ещё и служила), а садилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила: «У мамы тоска», и все сердились друг на друга и мрачнели.

Николай Антоныч, как вскоре выяснилось, вовсе не был её мужем и вообще не был женат, несмотря на свои сорок пять лет.

– Он тебе кто? – как-то спросил я Катю.

– Никто.

Она наврала, конечно, потому что у неё с мамой и у Николая Антоныча была одна фамилия. Кате он приходился дядей, только не родным, а двоюродным.

Двоюродный дядя всё-таки, а между тем к нему относились неважно. Это тоже было довольно странно, тем более что он, наоборот, ко всем был очень внимателен, даже слишком.

Старушка любила кино, не пропускала ни одной картины, и Николай Антоныч ходил с нею, даже заранее брал билеты. За ужином она всегда с увлечением рассказывала содержание картины (и в эти минуты, между прочим, становилась похожа на Катю). Николай Антоныч терпеливо слушал её – хотя только что вернулся из кино вместе с нею.

Впрочем, она, кажется, жалела его. Я видел однажды, как он сидел за пасьянсом, низко опустив голову, и задумчиво барабанил пальцами по столу, а она глядела на него с сожалением.

Вот кто относился к нему безжалостно – Марья Васильевна! Что только он не делал для неё! Он приносил ей билеты в театр, а сам оставался дома. Он дарил ей цветы. Я слышал, как он просил её побережь себя и бросить службу. Так же внимателен он был и к её гостям. Стоило только кому-нибудь прийти к Марье Васильевне, как сейчас же являлся и он. Очень радушный, весёлый, он затевал с гостем длинный разговор, а Марья Васильевна сидела на кушетке, мрачно сдвинув брови, и курила.

Особенно любезен он был, когда приходил Кораблёв. Без сомнения, он считал, что «Усы» – его гость, потому что сразу же тащил его к себе или в столовую и не давал говорить о делах. Вообще все оживлялись, когда приходил Кораблёв, в особенности Марья Васильевна.

В новом платье с белым воротничком, она сама накрывала на стол, хлопотала и становилась ещё красивее. Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом усы, Кораблёв начинал шумно ухаживать за старушкой. Николай Антоныч тоже смеялся и бледнел. У него была эта странная черта – он бледнел от смеха.

Меня он не любил – я долго не догадывался об этом. Сперва он только удивлялся, встречая меня, потом он стал морщиться и как-то неприятно втягивать воздух носом. Потом начались поучения:

– Как ты сказал «спасибо»? – Он услышал, как я за что-то сказал старушке спасибо. – А ты знаешь, что такое «спасибо»? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли или не понимаешь, может тем или иным путём пойти и вся твоя жизнь. Мы живём в человеческом обществе, и одной из движущих сил этого общества является чувство благодарности. Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и материальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось на его судьбе.

Слушая его, я как-то начинал чувствовать заплаты на штанах. Да, на мне плохие сапоги, я – маленький, грязный и слишком бледный. Я – это одно, а они, Татариновы, совсем другое. Они богатые, а я бедный. Они умные и учёные, а я дурак. Было над чем подумать.

Кстати сказать, Николай Антоныч не только со мной разговаривал о своём двоюродном брате. Это была его любимая тема. Он утверждал, что всю жизнь заботился о нём, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбацкой семьи и, если бы не Николай Антоныч, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все предки до седьмого колена. Николай Антоныч, «заметив в мальчике недюжинные способности и пристрастие к чтению», перетащил его из Геническа в Ростов-на-Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он выплачивал ему «ежемесячное пособие», а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антоныч выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом помог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму. Словом, он сделал для него очень много – понятно, почему он так любил о нём вспоминать. Он говорил медленно, подробно, и женщины слушали его с каким-то напряжённым благоговением.

Не знаю почему, но мне казалось, что в эти минуты они чувствуют себя в долгу перед ним – в неоплатном долгу за всё, что он сделал для брата.

Впрочем, они и были в долгу – и именно в неоплатном, потому что этот брат, которого Николай Антоныч называл то «покойным», то «без вести пропавшим», был мужем Марьи Васильевны и, стало быть, Катиним отцом. Всё, что находилось в квартире, прежде принадлежало ему, а теперь Марье Васильевне и Кате. И картины, за которые, по старушкиным словам, «Третьяковка даёт большие деньги», и какой-то «страховой полис», по которому следовало в парижском банке получить восемь тысяч рублей.

Этими сложными делами и отношениями взрослых меньше всего интересовался один человек – Катя. У неё были свои дела – поважнее. Она переписывалась с двумя подругами, оставшимися в Энске, и повсюду теряла свои письма, так что их читали все, кому не лень, даже гости. Подругам она писала как раз то же самое, что ей писали подруги. Подруга, например, пишет, что видела сон, будто она потеряла сумочку, и вдруг Мишка Купцов – «помнишь, я тебе писала» – идёт навстречу, и сумочка у него в руке. И Катя отвечает подруге, что видела сон, будто она что-то потеряла, уж не сумочку, а вставочку или ленту, а Шура Голубенцев – «помнишь, я тебе писала» – нашёл и принёс. Подруга пишет, что была в кино, и Катя отвечает, что была, хотя бы она и сидела дома. Я потом догадался, что подруги были старше и она им подражала.

Зато со своими одноклассниками она обращалась довольно сурово. Особенно командовала она одной девочкой, которая называла себя Кирен, – впрочем, у Татариновых все её так называли. Она сердилась, что Кирен не любит читать.

- Кирка, ты читала «Дубровского»?
- Читала.
- Врёшь!
- Плюнь мне в глаза!
- Ну, тогда отвечай: почему Маша за Дубровского не вышла?
- Вышла.
- Здравствуйте!
- А я читала, что вышла.

Точно так же Катя решила проверить и меня, когда и принёс «Елену Робинзон». Не тут-то было! С любого места я продолжал наизусть. Она не любила удивляться и сказала только:

- Вызубрил, как скворец.

Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены Робинзон и была уверена, что при подобных же отчаянных обстоятельствах вела бы себя не менее храбро. Но, по-моему, готовясь к такой необыкновенной судьбе, не следовало так подолгу торчать перед зеркалом – тем более что на необитаемых островах зеркал не бывает. А Катька торчала.

В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у неё всегда были чёрные, обожжённые, и от неё пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала. Вдруг взрывы кончились. Катя засела читать «Столетие открытий».

Это была превосходная книга – биографии замечательных мореплавателей и завоевателей XV и XVI веков: Христофора Колумба, Фердинанда Кортеса и других.

Она была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми. Их овальные портреты на фоне далёких каравелл я как будто вижу и сейчас.

Америго Веспуччи, именем которого названа Америка, был изображён перед глобусом, с циркулем, который он держал на раскрытой книге, бородатый, весёлый и лукавый. Васко Нуньес Бальбоа – в панцире и в латах, в шлеме с пером, по колено в воде. Мне казалось, что это какой-то наш русский Васька, дорвавшийся до Тихого океана.

Я тоже был увлечён. Но Катя! Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая-то сонная и просыпалась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что, «сопровожаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Кортес выступил в поход и через несколько дней, вступил в многолюдную столицу инков».

Кошку, которую до «Столетия открытий» звали просто Васёной, она переименовала в Иптакчухуатль – в Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вершиной, Попокатепетль, она подъезжала к Нине Капитоновне, но не вышло. Иначе, как на «бабушку», Нина Капитоновна не отзывалась.

Словом, если Катя серьёзно жалела о чём-нибудь, то, без сомнения, только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу.

Но всё ещё впереди. Я знал, о чём она думает. Она хотела быть капитаном.

Глава 8

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Казалось бы, что, кроме хорошего, мог я ожидать от этого знакомства? Между тем не прошло и полугода, как меня выгнали вон...

Эта история началась со школьного театра, а история школьного театра началась с того, что в один прекрасный день Кораблёв явился на занятия и объявил, что на днях в актовом зале состоится спектакль.

Давно уже миновали те времена, когда на собрании пятого класса Кавычка предлагал объявить ненавистным «Усам» бойкот. Больше никого не раздражали длинные ноги нашего географа, его аккуратность и даже то, что он, как известно, «любит совать нос в чужие дела». Одно ему простили за то, что он видел живых йогов в Индии; другое – за то, что он ел гнилые яйца в Китае. Теперь он придумал новую штуку – школьный театр.

Для театра нужны были режиссёры, актёры, художники, плотники, мебельщики, портнихи – и вдруг оказалось, что представители всех этих профессий учатся в нашей школе. Нашёлся даже поэт-драматург – Настя Щекачёва.

К сожалению, я плохо помню трагедию «Настал час», которой был открыт первый сезон нашего театра. Суть её, кажется, заключалась в том, что какая-то бездетная баронесса берёт к себе приёмыша, не зная, что он еврей. Но это знает нянька – отрицательный тип, шантажистка, – и нянька требует денег, угрожая в противном случае открыть всему свету позор. Между тем ребёнок вырос и хочет жениться. Вот тут-то и начиналась трагедия.

Немного странно было, что все лучшие роли в нашем театре Иван Павлович (так звали Кораблёва) отдавал ребятам, на которых давно махнули рукой. В трагедии «Настал час» роль приёмыша – благородный герой и положительный тип – играл Гришка Фабер, гроза педагогов, первый заводила хулиганских затей. Он играл хорошо, только слишком орал. Его вызывали одиннадцать раз. Он стоял за кулисами мокрый, как мышь, дрожа от волнения, не веря своим ушам, а его вызывали и вызывали. Он прославился. Потом этот прославленный актёр стал дьявольски важничать, но перестал хулиганить.

Словом, театр произвёл самое неожиданное действие на четвертую школу. Ребята, ходившие в школу «не столько заниматься, сколько питаться», как говорил Кораблёв, неожиданно оказались в «трудовых отношениях».

Между прочим, не особенно хвастая, могу сказать, что это был превосходный театр. Мы даже выезжали на гастроли в другие школы.

Каждый день мы ходили к Кораблёву – он жил в Воротниковском – и слушали, как репетируют наши актёры. Репетицию с участием Гришки Фабера можно было слушать со двора, не заходя в квартиру. Вообще это было страшно интересно. Сперва я расклеивал афиши, потом стал рисовать их, и одна, с зелёным попугаем, так удалась, что Кораблёв взял её на память.

О четвертой школе стали говорить в Москве, а в четвертой школе стали говорить о Кораблёве: главный режиссёр, он же главный гримёр, бутафор и декоратор. Девочки из старших классов открыли, что Кораблёв – красивый. Не красивый, а интересный! Ну что ж! Он и в самом деле был интересный, особенно когда приходил в новом сером костюме, сухоощавый, стройный, курил из длинного мундштука и, смеясь, трогал пальцем усы.

Не знаю, понравился ли наш театр другим педагогам. Николай Антоныч на каждой премьере сидел в первом ряду и хлопал громче всех. Стало быть, понравился. Но, кажется, он был не очень доволен тем, что теперь в школе на все лады склонялось имя Кораблёва: «Я скажу Иван Павлычу», «Меня послал Иван Павлыч» и так далее. Пожалуй, это было ни

к чему – всё время рассказывать Николаю Антонычу о Кораблёве, какой он, оказывается, хороший.

Николай Антоныч с интересом прислушивался, шевелил пальцами, смеялся и бледнел. И вдруг произошла катастрофа.

Глава 9

КОРАБЛЁВ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДОЛГ

Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Катя рисовала «Первую встречу испанцев с индейцами» из «Столетия открытий», а меня Нина Капитоновна мобилизовала на кухню. Она была немного взволнована, всё прислушивалась и говорила мне:

– Ш-ш, звонок.

– Это на улице, Нина Капитоновна.

Но она ещё прислушивалась.

В конце концов она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл двери. Вошёл Кораблёв – в светлом лёгком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые.

Голос его немного дрогнул, когда он спросил, дома ли Марья Васильевна. Я сказал: «Да». Но он постоял ещё несколько секунд не раздеваясь. Потом он прошёл к Марье Васильевне, а я увидел, что Нина Капитоновна на цыпочках возвращается из столовой. Почему на цыпочках, почему с таким взволнованным, таинственным видом?

С этой минуты дело у нас пошло из рук вон плохо. У Нины Капитоновны, чистившей картошку, нож сам собой стал выпадать из рук. Она выбегала будто бы за чем-нибудь в столовую и возвращалась с пустыми руками. Каждый раз она бралась за новую картофелину, и таким образом в корзине лежало теперь довольно много картошки, очищенной с одного боку. Но я был совсем озадачен, когда Нина Капитоновна взяла одну из таких картошек, разрешила на мелкие кусочки и с задумчивым лицом бросила в суп. Да, она была чем-то занята. Чем же? Очень скоро я это узнал. Нина Капитоновна была не из тех людей, которые умеют хранить секреты.

Сперва она возвращалась молча, лишь делая руками разные загадочные знаки, которые можно было понять приблизительно так: «Господи боже ты мой, что-то будет?»

Потом стала бормотать. Потом вздохнула и заговорила. Новость была необыкновенная. Кораблёв пришёл делать предложение Марье Васильевне. Что такое «делать предложение», я, разумеется, знал. Он хотел жениться на ней и пришёл спросить, согласна она или не согласна.

Согласна или не согласна? Если бы меня не было на кухне, Нина Капитоновна точно так же обсуждала бы этот вопрос со своими кастрюлями и горшками. Она не могла молчать.

– Говорит – всё отдам, всю жизнь, – сообщила она, вернувшись из столовой в третий или четвёртый раз. – Ничего не пожалею.

Я сказал на всякий случай:

– Ну да?

– Ничего не пожалею, – торжественно повторила Нина Капитоновна. – Я вижу ваше существование. Оно – незавидное, на вас мне тяжело смотреть.

Она принялась было за картошку, но вскоре снова ушла и вернулась с мокрыми глазами.

– Говорит, что всегда тосковал по семье, – сообщила она. – Я был одинокий человек, и мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе. В этом роде.

«В этом роде» Нина Капитоновна добавила уже от себя. Минут через десять она снова ушла и вернулась озадаченная.

– Я устал от этих людей, – сказала она, хлопая глазами. – Мне мешают работать. Вы знаете, о ком я говорю. Поверьте мне, это человек страшный.

Нина Капитоновна вздохнула и села:

– Нет, не пойдёт она за него. Она – удручённая, и он – в годах.

Я не знал, что на это ответить, и на всякий случай снова сказал:

– Ну да?

– Поверьте мне, это человек страшный, – задумчиво повторила Нина Капитоновна. – Может быть! Господи помилуй! Может быть!

Я сидел смирно. Обед был отставлен, белые водяные шарики катились по плите: вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела...

Старушка снова ушла и на этот раз провела в столовой минут пятнадцать. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками.

– Не пошла! – объявила она. – Отказала. Господи помилуй! Такой мужчина!

Кажется, она и сама хорошенько не знала, радоваться или огорчаться, что Марья Васильевна отказала Кораблёву.

Я сказал:

– Жалко.

Нина Капитоновна посмотрела на меня с изумлением.

– Чего же, могла и выйти, – добавил я. – Ещё молодая.

– Полно врать... – сердито начала была Нина Капитоновна.

Вдруг она стала степенная, важная, поплыла из кухни и встретила Кораблёва в передней. Он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он одевался. По глазам было видно, что она недавно перестала плакать.

– Бедный, бедный! – как бы про себя сказала Нина Капитоновна.

Кораблёв поцеловал ей руку, а она его в лоб; для этого ей пришлось встать на цыпочки, а ему – поклониться.

– Иван Павлович, вы – мой друг и наш друг, – сказала Нина Капитоновна степенно. – И должны знать, что вы у нас всегда, как в родном доме. И Маше вы – первый друг, я знаю. И она это знает.

Кораблёв молча поклонился. Мне было очень жаль его. Я просто не мог понять, почему Марья Васильевна ему отказала. На мой взгляд, это была подходящая пара.

Должно быть, старушка ожидала, что Марья Васильевна позовёт её и всё расскажет – как Кораблёв делал предложение, и как она ему отказала. Но Марья Васильевна не позвала её. Наоборот, она заперлась в своей комнате на ключ, и слышно было, как она там расхаживала из угла в угол.

Катя кончила «Первую встречу испанцев с индейцами» и хотела ей показать, но она сказала из-за двери: «Потом, доченька» – и не открыла.

Вообще в доме стало как-то скучно с тех пор, как ушёл Кораблёв, а потом и ещё скучнее, когда пришёл весёлый Николай Антоныч и объявил, что к обеду будут не трое, как он рассчитывал, а шесть человек гостей.

Хочешь не хочешь, а Нине Капитоновне пришлось серьёзно браться за дело. Даже Катя была приглашена – стаканом вырезать для колдунов кружочки из теста. Она принялась очень энергично, покраснелась, вся перемазалась мукой – нос и волосы, но скоро ей надоело, и она решила вырезать не стаканом, а старой чернильницей, чтобы получились не кружочки, а звёздочки.

– Бабушка, для красоты, – умоляюще сказала она Нине Капитоновне.

Потом она сваяла звёздочки и объявила, что будет печь свой пирог отдельно, – словом, от неё было мало толку.

Шесть человек гостей! Кто же? Я смотрел из кухни и считал.

Первым пришёл заведующий учебной частью Ружичек, по прозвищу Благородный Фаддей. Не знаю, откуда взялось это прозвище: всем хорошо было известно, какой он благородный! За ним явился толстый, лысый, с длинной смешной головой учитель Лихо. За

ним – ещё кто-то, все педагоги. Потом пришла немка, она же француженка – преподавала немецкий и французский. Пришла наша Серафима с часиками на груди, и последним неожиданно припёрся Возчиков из восьмого класса. Этот Возчиков был типичный «лядовец». Он чисто одевался, даже носил ремень с пряжкой МРУЛ, то есть «Московское Реальное Училище Лядова», и был представителем старших классов в школьном совете.

Вообще здесь был почти весь школьный совет. Это было довольно странно – пригласить почти весь школьный совет к обеду. Я сидел в кухне и слушал, о чём говорят. Двери были открыты. Сперва Лихо сказал о «продуктах питания», о том, что теперь будут новые деньги. Сегодня фунт масла стоит четырнадцать миллионов, а завтра – двадцать копеек, как в довоенное время. Сегодня дворнику дают десять миллионов, а завтра десять копеек, «и он ещё будет кланяться и благодарить».

– А я-то, дура, только что скатерть продала за двести тридцать миллионов! – вздохнув, сказала Серафима Петровна.

Потом заговорили о Кораблёве. Вот тебе на! Оказывается, он подлизался к советской власти. Он из кожи лезет вон, чтобы «сделать карьеру». Усы он красит. Эту крайне вредную затею с театром он провёл только для того, чтобы «завоевать популярность». Он был женат и свёл жену в могилу. На заседаниях он проливает, оказывается, «крокодиловы слёзы».

Я не знал, что такое «крокодиловы слёзы», но при этих словах мне представился Кораблёв, выходящий из комнаты Марьи Васильевны, бледный, с повисшими, точно приклеенными усами, и я сразу понял, что они всё врут. И насчёт театра, и насчёт жены, и насчёт «крокодиловых слёз», что бы это ни означало. Они – его враги, те самые, о которых он ещё сегодня говорил Марье Васильевне: «Я устал от этих людей. Мне мешают работать».

До «крокодиловых слёз» – это ещё был разговор. Но вот я услышал голос Николая Антоныча и понял, что это не разговор, а заговор. Они хотели прогнать Кораблёва из школы.

Николай Антоныч начал издали:

– Педагогика в числе внешних воспитательных факторов всегда предусматривала искусство...

Потом он перешёл к Кораблёву и, прежде всего, «отдал должное его дарованиям». Оказывается, нам нет никакого дела до «причин гибели его покойной жены». Нас интересует лишь «мера и степень его воздействия на детей». Нас волнует вредное направление, на которое Иван Павлович толкает школу, и только поэтому мы должны поступить так, как нам подсказывает педагогический долг – «долг лойяльных советских граждан».

Нина Капитоновна загремела пустыми тарелками, и я не расслышал, что именно подсказывает Николаю Антонычу его педагогический долг. Но когда Нина Капитоновна потащила в столовую второе, я из общего разговора понял, что они хотят сделать.

Во-первых, на ближайшем заседании школьного совета Кораблёву будет предложено «ограничиться преподаванием географии в пределах программы». Во-вторых, его деятельность будет оценена как «вульгаризация идеи трудового воспитания». В-третьих, школьный театр будет закрыт. В-четвёртых и в-пятых, ещё что-то. Кораблёв, конечно, обидится и уйдёт. Как сказал Благородный Фаддей – «скатертью дорога».

Да, это был подлый план, и я удивлялся, что Нина Капитоновна не вмешивалась, терпела. Но вскоре я понял, в чём дело. Приблизительно со второго блюда она стала жалеть, что Марья Васильевна отказала Кораблёву. Больше она ни о чём не думала, ничего не слышала. Она что-то бормотала, пожимала плечами и один раз даже сказала громко:

– Вот как! Что теперь мать?

Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблёву...

Гости разошлись, а я всё не мог решить – что делать?

Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблёв пришёл со своим предложением. Сидел бы лучше дома. Тогда я мог бы рассказать Марье Васильевне всё, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно: она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявила, что с ног падает – хочет спать, сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошёл домой.

Глава 10 «ОТВЕТ С ОТКАЗОМ»

Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спим мы или бузим, все ли легли.

Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки, – уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, всё думал.

Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоныча и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблёва из школы. Вот я пишу Кораблёву письмо... Я стал сочинять письмо и заснул...

Очень странно, но, проснувшись (раньше всех), я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник! Я стал вспоминать письма, которые мы читали. «Ответ с отказом»: «Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня...» Не годится!

«Письмо благодарственное за благосклонный приём» тоже не годилось, равно как и «Письмо с требованием должной суммы». «Письмо от вдовца к девице» я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более что я не был вдовцом, а Кораблёв – девицей.

Наконец я решился.

Было ещё очень рано – восьмой час, на улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с чёрного хода.

Кораблёв жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожем на дачу. Почему-то я был уверен, что он не спит. Ясно, не мог спать человек, который вчера получил от Марьи Васильевны «ответ с отказом». И он правда не спал. В комнате горел свет, он стоял у окна и смотрел во двор – так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками.

– Иван Павлыч!

Но Иван Павлыч зажмурился, тряхнул головой и ушёл.

– Иван Павлыч, откройте, это я!

Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду.

– Это я, Григорьев, – повторил я, испугавшись, что он забыл меня. (Он смотрел как-то странно.) – Я к вам пришёл и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас... – Кажется, я не сказал «прогнать». А может быть, и сказал, потому что он вдруг очнулся.

– Зайди, – коротко сказал он.

Всегда у него было очень чисто, книги на полках, кровать под белым одеялом, на подушке – накидка. Всё в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. То он щурился, то широко раскрывал глаза – как будто всё перед ним расплывалось. Без сомнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его ещё не видел.

– А, Саня, – нетвёрдо сказал он. – В чём дело?

– Иван Павлыч, я хотел вам письмо написать! – ответил я с жаром. – Вообще вопрос упирается в школьный театр... Про вас говорят, что вы заморили жену.

– Постой! – Он засмеялся. – Кто говорит, что я заморил жену?

– Все. «Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей – вот что нас возмущает».

– Ничего не понимаю, – серьёзно сказал Кораблёв.

– Да, вульгаризация, – повторил я твёрдо.

Ещё с вечера я твердил эти слова: «вульгаризация», «популярность» и «лаояльный долг». «Вульгаризацию» сказал, теперь остались «популярность» и «лаояльный долг».

– «На собраниях он проливает крокодиловы слёзы», – продолжал я торопливо. – «Эту крайне вредную затею он провёл, чтобы захватить популярность». Да, «популярность». «Он подлизался к советской власти». «Мы должны выполнить наш лаояльный долг».

Может быть, я что-нибудь и перепутал. Но мне легче было повторить наизусть всё, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблёв понял меня. Он отлично понял меня. Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение, лёгкая краска проступила на щеках, и он быстро прошёлся по комнате.

– Это весело, – пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. – А ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли?

– Ясно, не хотят.

– И ты из-за театра пришёл?

Я промолчал. Может быть, из-за театра. А может быть, потому, что без Кораблёва в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы...

– О, дураки, – неожиданно сказал Кораблёв, – скучнейшие в мире!

Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так-то расхаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принёс кипятку, заварил чай, достал из стенного шкафчика стаканы.

– Хотел уехать, а теперь решил остаться, – объявил он. – Будем воевать. Верно, Саня? А пока выпьем-ка чаю.

Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблёв должен был сурово расплатиться за «вульгаризацию идеи трудового воспитания». Очевидно, не состоялось, потому что он не расплатился. Каждое утро как ни в чём не бывало «Усы» расчёсывал перед зеркалом усы и шёл на урок...

Через несколько дней театр объявил новую постановку: «На всякого мудреца довольно простоты», и роль мудреца играл Гришка Фабер. По роли – ему лет двадцать пять, но он предпочёл играть человека средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Всё время он барабанил пальцем по столу, как Николай Антоныч, и вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал.

Из райкома комсомола пришли два чёрных курчавых мальчика и предложили организовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записываться детдомовцам, и они ответили, что можно, но только начиная с четырнадцати лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчётам выходило – скоро тринадцать. На всякий случай я сказал, что четырнадцать. Но мне всё-таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста.

Из педагогов на этом собрании были только Кораблёв и Николай Антоныч. Кораблёв сказал довольно торжественную речь, сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антоныч тоже сказал речь. Это была прекрасная речь – он приветствовал представителей райкома как молодое поколение и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идёт-гудёт Зелёный Шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень весёлое лицо и он даже улыбался.

После собрания я встретил его в коридоре и сказал: «Здравствуйте, Николай Антоныч!» Но он почему-то не ответил.

Словом, всё было в порядке, и я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину – она просила. Не прошло и получаса, как я передумал.

Мне открыла старушка и как-то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти.казалось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула двери, шепнула мне быстро: «Иди на кухню» – и легонько толкнула в спину.

Я замешкался – просто от удивления. В эту минуту Николай Антоныч вышел в переднюю и, увидев меня, зажёл свет.

– А-а! – каким-то сдавленным голосом сказал он. – Явился.

Он больно схватил меня за плечо:

– Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! Чтобы твоей ноги здесь не было! Слышишь?

Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антоныч открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котёнка.

Глава 11

УХОЖУ

Пусто было в детдоме, пусто было в школе. Все разбежались – воскресный день. Только Ромашка бродил по пустым комнатам и всё что-то считал – должно быть, свои будущие богатства, да повар в кухне готовил обед и пел. Я пристроился в тёплом уголке за плитой и стал думать.

Да, это сделал Кораблёв. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошёл к Николаю Антонычу и выдал меня с головой.

Они оказались правы. И Николай Антоныч, и немка-француженка, и даже Лихо, который сказал, что на собраниях Кораблёв проливает «крокодиловы слёзы». Он – подлец. А я-то ещё жалел, что Марья Васильевна ему отказала.

– Дядя Петя, что такое «крокодиловы слёзы»?

Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты:

– Кажись, соус такой.

Нет, это не соус... Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи. Голова закружилась. Я вздохнул и пошёл в спальню.

Ромашка сидел в спальне у окна и считал.

– Теперь сто тысяч будет всё равно что копейка, – сказал он мне. – А если набрать отменённых денег и поехать, где это ещё неизвестно, закупить всего, а тут продать за новые деньги. Я сосчитал – на один золотой рубль прибыли сорок тысяч процентов.

– Прощай, Ромашка, – ответил я ему. – Ухожу.

– Куда?

– В Туркестан, – сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане.

– Врёшь!

Я молча снял с подушки наволочку и сунул в неё всё, что у меня было: рубашку, запасные штаны, афишу: «Силами учеников четвёртой школы состоится спектакль «Марат» – и чёрную трубочку, которую когда-то оставил мне доктор Иван Иванович. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик. Туда же отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку.

Ромашка следил за мной с интересом. Он всё ещё считал шёпотом, но уже без прежнего азарта:

– Если на один рубль сорок тысяч – стало, на сто рублей...

Прощай, школа! Не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня. Хорош и так. И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Валька вспомнит один раз и забудет.

– Стало, на сто рублей четыреста, – шептал Ромашка. – Четыреста тысяч процентов на сто рублей.

Но я ещё вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу: «Вот, возьмите за всё, что я съел у вас». И Кораблёв, которого выгонят из школы, придёт ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что!

И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришёл к нему, стоял и внимательно смотрел во двор, очень грустный и немного пьяный. Полно, он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверно, и виду не подал; он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же?

«А-а, Валька! – вдруг сказал я себе. – Ведь когда я вернулся от Татариновых, я всё рассказал ему. Это – Валька!»

Но Валька, помнится, захрапел не дослушав. И, вообще, Валька не сделает этого никогда.

Может, Ромашка? Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами, он сидел на окне и всё умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым, плоским глазом. Но ведь он ничего не знал...

Теперь, когда я твёрдо решил, что это сделал не Кораблёв, можно было, пожалуй, и остаться. Но у меня болела голова, звенело в ушах, и почему-то казалось, что теперь, когда я сказал Ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой-то тоской в сердце я оглянулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет; стенка с клеточками, где лежит бельё, – вот моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати...

Я вздохнул, взял узел, кивнул Ромашке и вышел. Должно быть, у меня был уже сильный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. Впрочем, ещё в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. Курточку решено было загнать, – по моим расчётам, за неё можно было взять миллионов пятнадцать.

По той же причине – сильный жар и головная боль – я плохо помню, что я делал на Сухаревке, хотя и провёл там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из которого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом:

– А вот кому...

Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что заметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая – та, которую он продавал, – накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошёл со своим товаром, везде наткался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену.

Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз – и расхотелось.

Где-то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже не холодно, но пальцы всё-таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку и всё, помнится, смотрел, не раскрошился ли он. Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено: если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупатель, и я решал, что постою ещё полчаса.

Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы...

Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара – далеко. Всё-таки я пошёл и поел, и, странно, снег показался мне тёплым. Кажется, меня вырвало, а может быть, и нет. Помню только, что я сидел на снегу, и кто-то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец меня перестали держать, я лёг и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что-то, как будто: «Припадочный, припадочный...» Потом у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали: «Вот чудной, да тебе же под голову!», но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошёл мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно понимал, что это бред... Наволочку ещё тянули. Я услышал женский голос:

– Узел не отдаёт.

И мужской:

– Ну что ж, так с узлом и кладите.

Потом мужской голос сказал:

– Очевидно, испанка.

И всё провалилось...

Ещё и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар. При тридцати восьми я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого приятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной, светлой комнате я рисую картину – водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блесит на солнце вода! Какие чудесные зелёные камни!

Вот я еду куда-то в розвальнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я ещё вижу, как снег бежит из-под розвальней между широкими полозьями, – кажется, что мы стоим, а он бежит; и только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что кажется – ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвальнях всю жизнь.

Почему у меня был такой хороший бред, не знаю. Я был при смерти, дважды меня как безнадежного отгораживали от других больных ширмой. Синюха – верный признак смерти – была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением:

– Как, ещё жив?

Всё это я узнал, когда очнулся...

Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хотел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме... Чья-то рука удержала меня. Чье-то лицо – забытое и необыкновенно знакомое – приблизилось ко мне. Хотите верьте, хотите нет – это был доктор Иван Иванович.

– Доктор, – сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. – Доктор, вьюга!

Он смотрел мне прямо в глаза – наверно, думал, что я ещё брежу.

– Седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам, – сказал я, чувствуя, что слёзы льются прямо в рот. – Это я, доктор. Я – Санька. Помните, в деревне, доктор? Мы прятали вас. Вы меня учили.

Он ещё раз заглянул мне в глаза, потом надул щёки и с шумом выпустил воздух.

– Ого! – Он засмеялся. – Как не помнить?.. А сестра где?.. Как же так? Ведь ты мог тогда только «ухо» сказать, да и то лаял. Научился, а? Да ещё в Москву перебрался? Да ещё умирать вздумал?

Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать, – напротив, но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос.

– Лежи, брат, смирно. Тебе ещё говорить нельзя. Немой и немой. Чёрт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно: а вдруг скажешь лишнее слово – и готов. Поминайте, как звали.

Глава 12

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иванович не согласился с тем, что моя карта бита.

Часами сидел он у моей постели, изучая странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов я снова пришёл в себя, и хотя долго ещё лежал с закаченными к небу глазами, однако был уже вне опасности.

«Вне опасности умереть, – как сказал Иван Иванович, – но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом».

Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как-то умнее, чем прежде. Так оно и было. Но болезнь тут ни при чём.

Как бы то ни было, я провёл в больнице не менее полугода. За это время мы очень часто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Ивановичем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем – об этом ниже.

Удивительно, как мало переменялся он за эти годы. По-прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом:

*Барон фон Гринвальдус,
Сей доблестный рыцарь,
Все в той же позиции
На камне сидит.*

К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми, живыми глазами, хватал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили «старое время», и он удивился, что я ещё помню, как он делал из хлебного мякиша и ещё из чего-то кошку и мышку, и кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка.

– Иван Иванович, а ведь после, как вы ушли, – сказал я, – ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках.

Он засмеялся, потом задумался.

– А это, брат, меня на каторге научили.

Оказывается, он был ссыльным. Как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на поселении был где-то очень далеко, у Баренцева моря.

– А уж оттуда, – сказал он смеясь, – прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замёрз по дороге.

Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Чёрную трубочку – стетоскоп – он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за слово пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома.

Он слушал очень внимательно и почему-то всё время смотрел мне прямо в рот.

– Да, Здорово, – задумчиво сказал он. – Просто редкая штука.

Я решил, что он думает, что удрать из детдома – редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая, но он снова сказал:

– Не глухо-, а слухонемота, то есть немота без глухоты. Stummheit ohne Taubheit. И ведь не мог сказать «мама». А теперь извольте-ка! Оратор!

И он стал рассказывать обо мне другим докторам.

Я был немного огорчён, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заставила меня удрать из детдома, и даже, кажется, вообще пропустил её мимо ушей. Но я ошибся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, сестра сказала:

– К Григорьеву гости.

И вошёл Кораблёв:

– Здравствуй, Саня!

– Здравствуйте, Иван Павлыч!

Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он сначала говорил только о моём здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ругать. О, как он меня ругал! Как по-писаному, он рассказал мне всё, что я о нём думал, и объявил, что я обязан был явиться к нему и сказать: «Иван Павлыч, вы – подлец», если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я – типичный индивидуалист. Он немного смягчился, когда, совершенно убитый, я спросил:

– Иван Павлыч, а что такое индиалист?

Словом, он ругал меня, пока не кончились приёмные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что ещё зайдёт.

– Когда?

– На днях. У меня с тобой серьёзный разговор. А пока подумай.

К сожалению, он не сказал, о чём мне думать, и мне пришлось думать о чём попало. Я вспоминал Энск, Сквородникова, тётю Дашу и решил, что, как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходили в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все засыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же как я, лежит где-то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему, и он удрал куда-нибудь в Перу? Вдруг Петька – в Перу? Как Васко Нуньес Бальбоа, он стоит на берегу Тихого океана в латах, с мечом в руке. Едва ли. Но всё-таки, кто знает, где он побывал, пока я, как пай-мальчик, жил в детском доме.

В следующий приёмный день пришёл Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где-то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят, а этот почему-то не спал. Вообще это был удивительный ёж. Вальке нравилось даже, как ёж чесался.

– Как собака! – с восторгом сказал он. – И даже лапкой об пол стучит, как собака.

Словом, два битых часа Валька говорил про ежа и, только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблёв мне кланяется и на днях зайдёт.

Я сразу понял, что это и будет серьёзный разговор. Очень интересно! Я был уверен, что мне опять попадёт. И не ошибся.

Разговор начался с того, что Кораблёв спросил, кем я хочу быть.

– Не знаю, – отвечал я. – Может быть, художником.

Он поднял брови и возразил:

– Не выйдет.

По правде говоря, я ещё не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем-нибудь вроде Васко Нуньес Бальбоа. Но Иван Павлыч с такой уверенностью сказал: «Не выйдет», что я возмутился:

– Почему?

– По многим причинам, – твёрдо возразил Кораблёв. – Прежде всего потому, что у тебя слабая воля.

Я был поражён. Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля.

– Ничего подобного, – возразил я мрачно, – сильная.

– Нет, слабая. Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился. А ты учишься плохо.

– Иван Павлыч, – сказал я с отчаянием, – у меня один «неуд».

– Да, плохо. А между тем мог бы учиться отлично.

Он подождал, не скажу ли я ещё что-нибудь. Но я молчал.

– Ты воображаешь лучше, чем соображаешь.

Он ещё подождал.

– И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! Вот ты говоришь: хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем другим человеком.

Глава 13 ДУМАЮ

Легко сказать: ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один «неуд», и то по арифметике, и то потому, что однажды я почистил сапоги, а Ружичек вызвал меня и сказал:

– Чем это ты мажешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?

Я нагрубил, и с тех пор он мне больше «неуда» не ставил. Но всё-таки я чувствовал, что Кораблёв прав и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действительно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. Для начала я решил прочитать книгу «Записки охотника», которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной.

Странно! Только что я взял из больничной библиотеки «Записки охотника» и прочитал страниц пять, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом, а слово нужно держать.

Я прочёл «Записки охотника» и решил, что Кораблёв врёт. У меня сильная воля.

Разумеется, нужно было бы проверить себя ещё раз. Скажем, каждое утро после зарядки обтираться холодной водой из-под крана. Или выйти в год по арифметике на «отлично». Но всё это я отложил до возвращения в школу, а пока оставалось только думать и думать.

«Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? Может быть, потому, что я хвастал своей лепкой? Это было обидно. Катька – вот кто воображает! Или Кораблёв иначе понимает это слово. Я решил, что спрошу у него, если он придёт ещё раз. Но он не пришёл, и только через год или два я узнал, что воображать – это значит не только «задаваться».

«Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностранных слов! Я нашёл среди них и «вульгаризацию» и «крокодиловы слёзы».

Наконец Иван Иванович осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы. Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти.

– Только смотри не позже двадцатого, – весело сказал он. – А то, брат, того и гляди, дома не застанешь...

С узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу – такая ещё была слабость. Но как хорошо! Какая большая Москва! Я забыл её. И как шумно на улицах! У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. Я здоров и буду жить. Я поправился. Прощай, больница! Здравствуй, школа!

По правде говоря, я был немного огорчён, что в школе меня встретили так равнодушно. Только Ромашка спросил:

– Выздоровел?

С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер.

Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал ёж, и он подозревал, что повар, по распоряжению Николая Антоныча, бросил ежа в помойную яму.

– Уж лучше бы я его продал, – грустно сказал Валька. – Мне двадцать пять копеек давали. Дурак – не взял.

Пока я лежал в больнице, появились новые деньги – серебряные и золотые.

В детдоме всё было по-старому, только Серафима Петровна перешла в старшие классы, и на её место поступил мужчина-воспитатель Суткин. Валька сказал, что он – подлиза. Подлизывается к Николаю Антонычу, к немке, к Ружичеку и к ребятам.

Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во-первых, она стала вдвое меньше: часть старших классов перевели в другие школы.

Во-вторых, её покрасили и побелили – просто не узнать стало прежних грязных комнат с тусклыми окнами и чёрными потолками.

В-третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарём была теперь тётя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в двадцатом году с шумовой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секретарём, потому что, когда я вернулся, маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе.

Я ещё не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тёти Вари задание – нарисовать парящий в облаках самолёт и над ним надпись: «Молодёжь, вступай в ОДВФ!»

Пальцы у меня ещё были как чужие, но я с жаром принялся за работу.

Словом, в школе стало в тысячу раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлечшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Ивановиче и о том, что он просил меня зайти не позже 20 мая.

Глава 14

СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛТИННИК

В этот день, когда я, наконец, собрался к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин ёж нашёлся. Оказывается, он забрался на чердак и каким-то образом попал в старую капустную кадку.

Может быть, он вспомнил, что не спал зимой, может быть, ослабел, просидев в кадке две недели, но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыла и не свёртывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как-то обвисла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в университет – в университете какая-то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в старые штаны и ушёл. Очень грустный, он вернулся через час и сел на кровать.

– Его вскроют, – сказал он мне и перекопился, чтобы не заплакать.

– Как – вскроют?

– Очень просто. Разрежут живот и начнут копать. Жалко.

Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте.

– Ладно, наплевать, – сказал я. – Другого купишь... Сколько тебе дали?

Валька молча разжал кулак. Ёж был полудохлый, и дали только двадцать копеек.

– А у меня тридцать, – сказал я. – Сложимся и купим спиннинг.

Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. Спиннинг – это такая складная длинная удочка с длинной леской на колесе, так что наживу можно закидывать от берега метров на сорок. Я видел эту штуку ещё в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спиннингом.

Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и пятиалтынные на один новенький серебряный полтинник. Полтинников я ещё не видел, они почему-то редко попадались.

Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и, когда я выбрался к доктору, уже начинало темнеть. Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи были теперь платные, не то что в двадцатом году. Но я всё-таки доехал бесплатно.

Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре, и я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказывается, в третьем этаже, а свет горел во втором. Квартира восемь. Вот она. Под номером было крупно написано мелом:

«Здесь живёт Павлов, а не Левенсон».

Павлов – это и был доктор Иван Иванович.

Мне открыла женщина с ребёнком на руках и, всё время шикая, спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, всё шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит.

– Всё-таки постучи, – шёпотом сказала она. – Наверно, не спит.

– Не сплю! – закричал откуда-то доктор. – Кто там?

– Какой-то мальчик.

– Пусть войдёт.

Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные красивые меховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплочными мешками. И среди этого развала со штативом в руках стоял доктор Иван Иванович.

– А, Саня! – весело сказал он. – Явился. Ну, как дела? Живёшь?

– Живу.

– Отлично! Кашляешь?

– Нет.

– Молодец! А я, брат, о тебе статью написал.

Я думал, что он шутит.

– Редкий случай немоты, – сказал доктор. – Можешь сам прочитать, в номере семнадцатом «Врачебной газеты». Больной Г. Это, брат, ты. Считаю, что прославился. Правда, пока ещё в качестве больного. Но всё впереди.

Он запел: «Всё впереди, всё впереди!» – и вдруг накинулся на самый большой чемодан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся.

Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живёт он, а не Левенсон.

Доктор засмеялся.

– Иван Иванович, почему у вас на двери написано, что здесь живёте вы, а не Левенсон?

– Потому что здесь живу я, – сказал он. – А Левенсон живёт в соседнем доме. У него номер восемь, и у меня восемь. А ворота общие. Понял?

– Понял.

Доктор очень много говорил в этот день. Таким весёлым я его ещё не видел. Вдруг он решил, что нужно что-нибудь мне подарить, и подарил кожаные перчатки, старые, но ещё очень хорошие, застёгивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разговоров сунул мне перчатки и сказал:

– Бери и молчи.

Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я вместо благодарности спросил:

– Вы куда это собрались? Уезжаете?

– Уезжаю, – ответил доктор. – На Крайний Север, за Полярный круг. Слыхал?

Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания.

– Слыхал.

– Ну вот. У меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?

– Знаю.

– Врёшь. Знаешь, да не понимаешь.

Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой: меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие-то металлические подошвы с ремнями и так далее. А доктор, укладывая, всё говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая карточка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах. На оборотной стороне было написано крупным, круглым почерком: «Судовая команда шхуны «Св. Мария». Я стал рассматривать карточку и, к своему удивлению, нашёл Катиного отца. Да, это был он! Он сидел в самой середине команды, скрестив руки на груди совершенно так же, как на портрете, висевшем у Татариновых в столовой. Но доктора я не нашёл на карточке и спросил, почему его нет.

– А это потому, брат, что я не плавал на шхуне «Святая Мария», – затягивая ремнями чемодан и страшно пытая, сказал доктор.

Он взял у меня карточку и подумал, куда бы её положить.

– Один человек оставил – на память.

Я хотел спросить, кто этот человек, не Катин ли отец, но он уже положил карточку в книгу и книгу – в заплечный мешок.

– Ну, Саня, – сказал он, – мне пора. А ты пиши, что делаешь и как себя чувствуешь. Имей, брат, в виду, что ты – экземпляр интересный!

Я записал его адрес, и мы простились.

Домой я пошёл пешком и по пути сделал небольшой крюк – послушать громкоговоритель на Тверской. Это был первый в Москве громкоговоритель. Он был очень интересный, но немного слишком орал и напомнил мне поэтому Гришку Фабера в трагедии «Настал час».

Когда я подходил к детдому, шёл уже одиннадцатый час, и я немного боялся, что двери уже закрыты. Ничего подобного! Двери открыты, и во всех окнах свет. Что случилось?

Как пуля, я влетел в спальню. Пусто! Кровати постланы – должно быть, уже собирались ложиться.

– Дядя Петя! – заорал я, увидя повара, вышедшего из кухни в новом костюме, со шляпой в руке. – Что случилось?

– Приглашён на собрание, – загадочным шёпотом ответил повар.

– Какое собрание? Куда?

– Собрание всех учащихся, преподавателей и служебного персонала, – так же загадочно сказал повар.

Должно быть, он успел здорово клюкнуть, потому что надолго закрывал глаза после каждого слова. Он начал было объяснять мне, что раз он приглашён на собрание, стало быть, должен одеться, как человек, но я уже бежал наверх, в школу.

Актальный зал был полон, яблоку негде упасть, и ещё много ребят стояло у дверей, в коридоре. Но я-то пролез и сел в первом ряду, только не на стул, а на пол, перед самой эстрадой...

Это было торжественное собрание под председательством Вари. Очень красная, она сидела в президиуме с карандашом в руке и всё время закидывала за ухо прядь волос, падавшую ей прямо на нос. Это было первое большое собрание, на котором она председательствовала, и понятно, почему она так волновалась. Другие ребята из ячейки сидели у неё по бокам и что-то прилежно писали. А над ними, над столом президиума, над всем залом висел мой плакат. У меня занялось дыхание. Это был мой плакат – аэроплан, парящий в облаках, и над ним надпись: «Молодёжь, вступай в ОДВФ!» Но при чём тут был мой плакат, этого я долго не мог понять, потому что все ораторы говорили исключительно о каком-то ультиматуме. Но вот выступил Кораблёв, и всё стало ясно.

– Товарищи! – негромко, но отчётливо сказал он. – Советскому правительству предъявлен ультиматум. В общем и целом, вы очень правильно оценили значение этого документа. С вашей точки зрения, авторы его – типичные империалисты. Совершенно верно! Но было бы ошибкой предполагать, что они этого не знали или что от вас услышали об этом впервые. Нет, мы иначе должны ответить на ультиматум! Мы должны создать в нашей школе ячейку Общества друзей воздушного флота!

Все захлопали и потом хлопали после каждой фразы Кораблёва. Между прочим, в конце он показал на мой плакат, и я почувствовал с гордостью, что вся школа смотрит на мой аэроплан, парящий в облаках, и читает надпись: «Молодёжь, вступай в ОДВФ!»

Потом выступил Николай Антоныч и тоже очень хорошо говорил, а потом тётя Варя объявила, что комсомольская ячейка полностью вступает в ОДВФ. Желающие могут записаться у неё завтра от десяти до десяти, а пока она предлагает устроить сбор в пользу советской авиации и собранные деньги послать в адрес газеты «Правда».

Должно быть, я волновался, потому что Валька, тоже сидевший на полу недалеко от меня, через три человека, смотрел на меня с удивлением. Я вынул серебряный полтинник и показал ему. Он понял. Он хотел что-то спросить – должно быть, про спиннинг, – но удержался и только кивнул головой.

Я вскочил на эстраду и отдал тёте Варе полтинник...

– Иван Павлыч, – спросил я Кораблёва, который стоял и курил из длинного мундштука в коридоре, – с каких лет берут в лётчики?

Он серьёзно посмотрел на меня:

– Не знаю, Саня. Тебя-то, пожалуй, ещё не возьмут...

Не возьмут? Клятва, которую когда-то мы с Петькой дали друг другу в Соборном саду, припомнилась мне: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но я не сказал её вслух. Всё равно Кораблёв бы её не понял.

ЧАСТЬ 3 СТАРЫЕ ПИСЬМА

Глава 1 ЧЕТЫРЕ ГОДА

Как в старых немых фильмах, мне представляются большие часы, но стрелка показывает годы. Полный круг – и я вижу себя в третьем классе, на уроке Кораблёва, на одной парте с Ромашкой. Пари заключено, – пари, что я не закричу и не отдерну руку, если Ромашка полоснёт меня по пальцам перочинным ножом. Это испытание воли. Согласно «правилам для развития воли», я должен научиться «не выражать своих чувств наружно». Каждый вечер я твержу эти правила, и вот, наконец, удобный случай. Я проверяю себя.

Весь класс следит за нами, никто не слушает Кораблёва, хотя сегодня интересный урок: о нравах и обычаях чукчей.

– Режь, – говорю я Ромашке.

И этот подлец хладнокровно режет мне палец перочинным ножом. Я не кричу, но невольно отдёргиваю руку и проигрываю пари.

Кто-то ахает, шёпот пролетает по партам. Кровь течёт, я нарочно громко смеюсь, чтобы показать, что мне нисколько не больно, и вдруг Кораблёв выгоняет меня из класса. Я выхожу, засунув руку в карман.

– Можешь не возвращаться.

Но я возвращаюсь. Урок интересный, и я слушаю его, сидя на полу, под дверью...

Правила для развития воли! Я возился с ними целый год. Я пробовал не только «скрывать свои чувства», но и «не заботиться о мнении людей, которых презираешь». Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что моё лицо как раз выражало решительно всё, что я чувствовал и думал.

«Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля» – также не было слишком трудной задачей для такого человека, как я.

Но зато я научился «порядок дня определять с утра» – и следую этому правилу всю мою жизнь.

Что касается главного правила: «помнить цель своего существования», то мне не приходится очень часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы...

Снова полный круг – раннее утро зимой двадцать пятого года. Я просыпаюсь раньше всех и лежу, не зная, сплю или уже проснулся. Как во сне, мне представляется наш Энск, крепостной вал, понтонный мост, дома на пологом берегу, Гаер Кулий, старик Сковородников, тётя Даша, читающая чужие письма с поучительным выражением... Я – маленький, стриженный, в широких штанах. Полно, я ли это?

Лежу и думаю, сплю и не сплю.

Энск отъезжает куда-то вместе с чужими письмами, с Гаером, с тётей Дашей. Я вспоминаю Татариновых... Я не был у них два года. Николай Антоныч всё ещё ненавидит меня. В моей фамилии ни одного шипящего звука, тем не менее он произносит её с шипением. Нина Капитоновна всё ещё любит меня: недавно Кораблёв передал от неё «поклон и привет». Как-то Марья Васильевна? Всё сидит на диване и курит? А Катя?

Я смотрю на часы. Скоро семь. Пора вставать – я дал себе слово вставать до звонка. На цыпочках бегу к умывальнику и делаю гимнастику перед открытым окном. Холодно,

снежинки залетают в окно, крутятся, падают на плечи, тают. Я умываюсь до пояса – и за книгу. За чудесную книгу – «Южный полюс» Амундсена, – которую я читаю в четвёртый раз.

Я читаю о том, как юношей семнадцати лет он встретил Нансена, вернувшегося из своего знаменитого дрейфа, о том, как «весь день он проходил по улицам, украшенным флагами, среди толпы, кричавшей «ура», и кровь стучала у него в висках, а юношеские мечты поднимали целую бурю в его душе».

Холод бежит по моим плечам, по спине, по ногам, и даже живот покрывается ледяными мурашками. Я читаю, боясь пропустить хоть слово. Уже доносятся голоса из кухни: девушки, разговаривая, идут в столовую с посудой, а я всё читаю. У меня горит лицо, кровь стучит в висках. Я всё читаю – с волнением, с вдохновением. Я знаю, что навсегда запомню эту минуту...

Снова полный круг – и я вижу себя в маленькой, давно знакомой комнате, в которой за три года проведены почти все вечера. По поручению комсомольской ячейки я в первый раз веду кружок по коллективному чтению газет. В первый раз – это страшно. Я знаю «текущий момент», «национальную политику», «международные вопросы». Но международные рекорды я знаю ещё лучше – на высоту, на продолжительность, на дальность полёта. А вдруг спросят о снижении цен? Не всё проходит благополучно. Кто-то из девочек просит рассказать биографию Ленина, а уж биографию-то Ленина я знаю отлично.

Всё теснее становится в комсомольской ячейке. На пороге стоит и внимательно слушает меня Кораблёв. Он трогает пальцами усы – ура! – значит, доволен. Чувство радости и гордости охватывает меня. Я говорю и думаю с изумлением: «Ох, как я хорошо говорю!»

Это моё первое общественное выступление, если не считать случая у костра, когда была низвергнута власть Стёпы Иванова. Кажется, оно удалось. На следующий день преподаватель обществоведения вызвал меня, попросил повторить биографию Ленина и сказал: «Если я заболею, меня заменит Саня Григорьев».

Ещё один полный круг – и мне семнадцать лет.

Вся школа в актовом зале. За большим красным столом – члены суда. По левую руку – защитник. По правую – общественный обвинитель. На скамье подсудимых – подсудимый.

– Подсудимый, ваше имя? – говорит председатель.

– Евгений.

– Фамилия?

– Онегин.

Это был памятный день.

Глава 2

СУД НАД ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ

Сначала никто в школе не интересовался этой затеей. Но вот кто-то из актрис нашего театра предложил поставить «Суд над Евгением Онегиным» как пьесу, в костюмах, и сразу о нём заговорила вся школа.

Для главной роли был приглашён сам Гришка Фабер, который вот уже год как учился в театральном училище, но по старой памяти иногда ещё заходил взглянуть на наши премьеры. Свидетелей взяли играть наши актёры; только для няни Лариных не нашлось костюма, и пришлось доказывать, что в пушкинские времена няни одевались так же, как и в наши. Защиту поручили Вальке, общественным обвинителем был наш воспитатель Суткин, а председателем – я...

В парике, в синем фраке, в туфлях с бантами, в чулках до колен преступник сидел на скамье подсудимых и небрежно чистил ногти сломанным карандашом. Иногда он надменно и в то же время как-то туманно посматривал на публику, на членов суда. Должно быть, так, по его мнению, вёл бы себя при подобных обстоятельствах Евгений Онегин.

В комнате свидетелей (бывшая учительская) сидели старуха Ларина с дочками и няня. Они, напротив, очень волновались, особенно няня, удивительно моложавая и хорошенькая для своих лет. Защитник тоже волновался и почему-то всё время держал на весу толстую папку с документами. Вещественные доказательства – два старинных пистолета – лежали передо мной на столе. За моей спиной слышался торопливый шёпот режиссёров...

– Признаёте ли вы себя виновным? – спросил я Гришку.

– В чём?

– В убийстве под видом дуэли, – прошептали режиссёры.

– В убийстве под видом дуэли, – сказал я и добавил, заглянув в обвинительное заключение: – поэта Владимира Ленского, восемнадцати лет.

– Никогда! – надменно отвечал Гришка. – Надо различать, что дуэль – не убийство.

– В таком случае, приступим к допросу свидетелей, – объявил я. – Гражданка Ларина, что вы можете показать по этому делу?

На репетиции это было очень весело, а тут все невольно чувствовали, что ничего не выходит. Только Гришка плавал, как рыба в воде. То он вынимал гребешок и расчёсывал баки, то в упор смотрел на членов суда каким-то укоряющим взором, то гордо закидывал голову и презрительно улыбался. Когда свидетельница, старуха Ларина, сказала, что у них в доме Онегин был как родной, Гришка одной рукой прикрыл глаза, а другую положил на сердце, чтобы показать, как он страдает. Он чудно играл, и я заметил, что свидетельницы, особенно Татьяна и Ольга, просто глаз с него не сводили. Татьяна – ещё куда ни шло: ведь она влюблена в него по роману, а вот Ольга – та совершенно выходила из роли. Публика тоже смотрела только на Гришку, а на нас никто не обращал никакого внимания.

Я отпустил свидетельницу, старуху Ларину, и вызвал Татьяну. Ого, как она затрещала! Она была совершенно не похожа на пушкинскую Татьяну, разве только своей татьянкой да локонами до плеч. На мой вопрос, считает ли она Онегина виновным в убийстве, она уклончиво ответила, что Онегин – эгоист.

Я дал слово защитнику, и с этой минуты всё пошло вверх ногами: во-первых, потому, что защитник понёс страшную чушь, а во-вторых, потому, что я увидел Катю.

Понятно, она очень переменилась за четыре года. Но косы, перекинутае на грудь, по-прежнему были в колечках, и такие же колечки на лбу. По-прежнему она шурилась с независимым видом, и нос был такой же решительный – кажется, и через сто лет я узнал бы её по этому носу.

Она внимательно слушала Вальку. Это была самая главная ошибка – поручить защиту Вальке, который во всём мире интересовался одной зоологией. Он начал с очень странного утверждения, что дуэли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заговорил о грызунах и так увлёкся, что стало просто непонятно, как он вернётся к защите Евгения Онегина. Но Катя слушала его с интересом. Я знал по прежним годам, что, когда она грызёт косу, значит, ей интересно. Из девочек только она не обращала на Гришку никакого внимания.

Валька вдруг кончил, и слово получил общественный обвинитель. Это было уж совсем скучно. Битый час общественный обвинитель доказывал, что хотя Ленского убило помещицье и бюрократическое общество начала XIX века, но всё-таки Евгений Онегин целиком и полностью отвечает за это убийство, «ибо всякая дуэль – убийство, только с заранее обдуманным намерением».

Словом, общественный обвинитель считал, что Евгения Онегина нужно приговорить к десяти годам с конфискацией имущества.

Никто не ожидал такого предложения, и в зале раздался хохот. Гришка гордо вскочил... Я дал ему слово.

Говорят, актёры чувствуют настроение зрителей. Должно быть, и Гришка чувствовал, потому что с первого слова он начал страшно орать, чтобы «поднять зал», как он потом объяснил. Но ему не удалось «поднять зал». В его речи был один недостаток: нельзя было понять, говорит он от своего имени или от имени Евгения Онегина. Едва ли Онегин мог сказать, что Ленский «любил задаваться». Или что у него «и теперь не дрогнула бы рука, чтобы попасть Владимиру Ленскому в сердце».

Словом, все свободно вздохнули, когда он сел, вытирая лоб, очень довольный собой.

– Суд удаляется на совещание.

– Поскорее, ребята!

– Скучно.

– Затянули.

Всё это было совершенно верно, и мы, не сговариваясь, решили провести совещание в два счёта. К моему изумлению, большинство членов суда согласились с общественным обвинителем. Десять лет с конфискацией имущества. Ясно, что Евгений Онегин был тут ни при чём. К десяти годам собирались приговорить Гришку, который всем надоел, кроме свидетельниц Татьяны и Ольги. Но я сказал, что это несправедливо: Гришка всё-таки хорошо играл, и без него было бы совсем скучно. Сошлись на пяти годах.

– Встать! Суд идёт!

Все встали. Я объявил приговор.

– Неправильно!

– Оправдать!

– Долой!

– Ладно, товарищи, – сказал я мрачно. – Я тоже считаю, что неправильно. Я считаю, что Евгения Онегина нужно оправдать, а Гришке выразить благодарность. Кто – за?

Все с хохотом подняли руки.

– Принято единогласно. Заседание закрыто...

Я был страшно зол. Напрасно взялся я за это дело. Может быть, нужно было превратить весь этот суд в шутку. Но как это сделать? Мне казалось, что все видят, как я ненаходчив и неостроумен.

В таком-то дурном настроении я вышел в раздевалку и как раз встретился с Катей. Она только что получила пальто и пробивалась на свободное место, поближе к выходу.

– Здравствуй! – сказала она и засмеялась. – Подержи-ка пальто... Вот так суд!

Она сказала это так, как будто мы вчера расстались.

– Здравствуй! – ответил я мрачно.

Она посмотрела на меня с интересом:

– Вот ты какой стал!

– А что?

– Гордый. Ну, бери пальто, и пошли!

– Куда?

– Ну, господи, куда! Хоть до угла. Не очень-то вежливый.

Я пошёл с нею без пальто, но она вернула меня с лестницы:

– Холодно и сильный ветер...

Вот какой она запомнилась мне, когда я догнал её на углу Тверской и Садово-Триумфальной.

Она была в сером треухе с незавязанными ушами, и колечки на лбу успели заиндеветь, пока я бегал в школу. Ветер относил полу её пальто, и она стояла, немного наклонясь, придерживая пальто рукою. Она была среднего роста, стройная и, кажется, очень хорошенькая. Я говорю: кажется, потому что тогда об этом не думал. Конечно, ни одна девочка из нашей школы не посмела бы так командовать: «Бери пальто, пошли!»

Но ведь это была Катька, которую я таскал за косу и тыкал носом в снег. Всё-таки это была Катька!

За те два часа, что она провела у нас, она успела познакомиться со всеми делами нашей школы. Она пожалела, что умер Бройтман, учитель рисования, которого все любили. Она знала, что все смеются над немкой, которая на старости лет подстриглась и стала красить губы. Она рассказала мне содержание ближайшего номера нашей стенной газеты. Оказывается, он будет целиком посвящён суду над Евгением Онегиным. Одна карикатура уже гуляла по рукам. Валька под лозунгом «Дуэли случаются и в животном мире» разнимал дерущихся собак. Гришка Фабер был изображён с гребешком в руках, томно вззирающим на свидетельниц Татьяну и Ольгу.

– Послушай, а почему все зовут тебя капитаном? Ты хочешь идти в морское училище, да?

– Ещё не знаю, – сказал я, хотя уже давным-давно знал, что пойду не в морское училище, а в лётную школу.

Я проводил её до ворот знакомого дома, и она пригласила меня заходить.

– Неудобно.

– Почему? Какое мне дело, что ты с Николаем Антонычем в плохих отношениях! О тебе бабушка вспоминала. Заходи, а?

– Нет, неудобно...

Катя холодно пожала плечами:

– Ну, как хочешь.

Я догнал её во дворе:

– Какая ты дура, Катька! Я тебе говорю – неудобно. Лучше давай пойдём куда-нибудь вместе, а? На каток?

Катя посмотрела на меня и вдруг задрала нос, как бывало в детстве.

– Я подумаю, – важно сказала она. – Позвони мне завтра часа в четыре. Фу, как холодно! Даже зубы мёрзнут.

Глава 3 НА КАТКЕ

Ещё в те годы, когда я увлекался Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. Вот она: на самолёте Амундсен добрался бы до Южного полюса в семь раз быстрее. С каким трудом он продвигался день за днём по бесконечной снежной пустыне! Он шёл два месяца вслед за собаками, которые в конце концов съели друг друга. А на самолёте он долетел бы до Южного полюса за сутки. У него не хватило бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полёте.

Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезывал из газет заметки о первых полётах на север и клеивал их в старую конторскую книгу. На первой странице этой книги было написано:

«Вперёд» – называется его корабль. «Вперёд», – говорит он и действительно стремится вперёд. Нансен об Амундсене». Это было моим девизом. Я мысленно пролетел на самолёте за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом Пири. По всем маршрутам. А раз в моём распоряжении находился самолёт, нужно было заняться его устройством.

Согласно третьему пункту моих правил: «что решено – исполни», я прочитал «Теорию самолётостроения». Ох, что это была за мука! Но всё, чего я не понял, я на всякий случай выучил наизусть.

Каждый день я разбирал свой воображаемый самолёт. Я изучил его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его, как свои пять пальцев. Одного только я ещё не знал: как на нём летать. Но именно этому я и хотел научиться.

Моё решение было тайной для всех, даже для Кораблёва. В школе считали, что я разбрасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили: «Новое увлечение». Это было не увлечение. Мне казалось, что я давно решил сделаться лётчиком, ещё в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в Соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днём увидеть луну и звёзды, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолёт легко обошёл облака и пропал на той стороне Песчинки. Конечно, это мне только казалось. Но всё же – недаром так запомнился мне этот самолёт. Должно быть, и в самом деле тогда я впервые подумал о том, что теперь занимало все мои мысли.

Итак, я скрыл свою тайну от всех. И вдруг – открыл её. Кому же? Кате.

В этот день мы с утра сговорились пойти на каток, и всё нам что-то мешало. То Катя откладывала, то я. Наконец собрались, пошли, и катанье началось неудачно. Во-первых, пришлось на морозе прождать с полчаса: каток был завален снегом, закрыт, и снег убирали. Во-вторых, у Кати на первом же круге сломался каблук, и пришлось прихватить конёк ремешком, который я взял с собой на всякий случай. Это бы ещё полбеды. Но ремешок мой всё время расстёгивался. Пришлось вернуться в раздевалку и отдать его сердитому краснощёкому слесарю, который с ужасным скрежетом точил коньки на круглом грязном точиле. Только что починил он пряжку, как самый ремешок оборвался – а он был свиной, а попробуйте-ка скрюченный свиной ремешок завязать на морозе! Наконец всё было в порядке. Снова пошёл снег, и мы долго катались, взявшись за руки, большими полукругами то вправо, то влево. Эта фигура называется голландским шагом.

Снег мешает хорошим конькобежцам. Но как приятно, когда на катке вдруг начинает идти снег! Никогда на катке снежинки не падают ровно на лёд. Они начинают кружиться – потому что люди, кружащиеся на льду, поднимают ветер – и долго взлетают то вверх, то вниз, пока не ложатся на светлый лёд. Это очень красиво, и я почувствовал, что всё на свете хорошо. Я знал, что и Катя чувствует это, несмотря на твёрдый, как железо, свиной

ремешок, который уже натёр ей ногу, и тоже радуется, что идёт снег, и что мы катаемся с ней просторным голландским шагом.

Потом я стоял у каната, которым была огорожена фигурная площадка, и смотрел, как Катя делает двойную восьмёрку. Сперва у неё ничего не выходило, она сердилась и говорила, что во всём виноват каблук, потом вдруг вышло, и так здорово, что какой-то толстяк, старательно выписывавший круги, даже крикнул и крикнул ей:

– Хорошо!

И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук.

Да, хорошо. Я замёрз, как собака, и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга – согреться.

Потом мы снова катались голландским шагом, а потом уселись под самым оркестром, и Катя вдруг приблизила ко мне разгорячённое, покрасневшее лицо с чёрными живыми глазами. Я подумал, что она хочет сказать мне что-нибудь на ухо, и спросил громко:

– А?

Она засмеялась:

– Ничего, просто так. Жарко.

– Катька, – сказал я, – знаешь что?.. Ты никому не расскажешь?

– Никому.

– Я иду в лётную школу.

Она захлопала глазами, потом молча уставилась на меня.

– Решил?

– Ага.

– Окончательно?

Я кивнул головой.

Оркестр вдруг грянул, и я не расслышал, что она сказала, стряхивая снег с жакетки и платья.

– Не слышу!

Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка, к детской площадке. Здесь было темно и тихо, площадка завалена снегом. Вдоль катальной горки были насажены ели, и вокруг площадки маленькие ели – как будто мы были где-нибудь за городом в лесу.

– А примут?

– В школу?

– Да.

Это был страшный вопрос. Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера. Я щупал свои мускулы и думал: «А вдруг не примут?» Я проверял глаза, уши, сердце. Школьный врач говорил, что я здоров. Но здоровье бывает разное, – ведь он не знал, что я собираюсь в лётную школу. А вдруг я нервный? А вдруг ещё что-нибудь? Рост! Проклятый рост! За последний год я вырос всего на полтора сантиметра.

– Примут, – решительно отвечал я.

Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением...

Мы ушли с катка, когда уже погасили свет и сторож в валенках, какой-то странный на льду, удивительно медленный, хотя он шёл обыкновенным шагом, пронзительно засвистел и двинулся к нам с метлой.

В пустой раздевалке мы сняли коньки. Буфет был уже закрыт, но Катя подъехала к буфетчице, назвала её «нянечкой», и та растрогалась, дала нам по булочке и по стакану холодного чая. Мы пили и разговаривали...

– Какой ты счастливый, что уже решил! – со вздохом сказала Катя. – А я ещё не знаю...

После того как я сказал, что иду в лётную школу, мы говорили только о серьёзных вещах, главным образом о литературе. Ей очень нравился «Цемент» Гладкова, и она ругала меня за то, что я ещё не читал. Вообще Катя читала гораздо больше меня, особенно художественной литературы.

Потом мы заговорили о любви и сошлись на том, что это ерунда. Сперва я усомнился, но Катя очень решительно сказала: «Разумеется, ерунда» – и привела какой-то пример из Гладкова. И я согласился.

Мы возвращались по тёмным, ночным переулкам, таким таинственным и тихим, как будто это были не Скатертные и Ножовые переулки, а необыкновенные лунные улицы, на Луне.

Глава 4 ПЕРЕМЕНЫ

Мы с Катей не говорили о её домашних делах. Я только спросил, как Марья Васильевна, и она отвечала:

– Спасибо, ничего.

– А Нина Капитоновна?

– Спасибо, ничего.

Может быть, и «ничего», но я подумал, что плохо. Иначе Кате не пришлось бы, например, выбирать между катком и трамваем. Но дело было не только в деньгах. Я прекрасно помнил, как в Энске мне не хотелось возвращаться домой, когда Гаер Кулий стал у нас полным хозяином и мы с сестрой должны были называть его «папа». По-моему, что-то в этом роде чувствовала и Катя. Она помрачнела, когда нужно было идти домой. В доме у них было неладно. Вскоре я встретился с Марьей Васильевной и окончательно убедился в этом.

Мы встретились в театре на «Принцессе Турандот». Катя достала три билета – третий для Нины Капитоновны. Но Нина Капитоновна почему-то не пошла, и билет достался мне.

Я часто бывал в театре. Но одно дело – культпоход, а другое – Марья Васильевна и Катя. Я взял у Вальки рубашку с отложным воротничком, а у Ромашки – галстук. Этот подлец потребовал залог:

– А вдруг потеряешь?

Пришлось оставить в залог рубль.

Мы пришли из разных мест, и Катя чуть не опоздала. Она примчалась, когда билетёрша уже запирала двери.

– А мама?

Мама была в зрительном зале. Она окликнула нас, когда, наступая в темноте на чьи-то ноги, мы искали наши места...

В нашей школе много говорили о «Принцессе Турандот» и даже пытались поставить. Гришка Фабер утверждал, что в этой пьесе все мужские роли написаны для него как нарочно. Поэтому в первом акте мне некогда было смотреть на Марью Васильевну. Я только заметил, что она по-прежнему очень красивая, даже, может быть, стала ещё красивее. Она переменила причёску, и весь высокий белый лоб был виден. Она сидела прямо и не отрываясь смотрела на сцену.

Зато в антракте я рассмотрел её как следует – и огорчился. Она похудела, постарела. Глаза у неё стали совсем огромные и совсем мрачные. Я подумал, что тот, кто увидел бы её впервые, мог бы испугаться этого мрачного взгляда.

Мы говорили о «Принцессе Турандот», и Катя объявила, что ей не очень нравится. Я не знал, нравится мне или нет, и согласился с Катей. Но Марья Васильевна сказала, что это чудесно:

– А вы с Катей ещё маленькие и не понимаете.

Она спросила меня о Кораблёве – как он поживает, и мне показалось, что она немного порозовела, когда я сказал:

– Кажется, хорошо.

На самом деле Кораблёв поживал не очень-то хорошо. В начале зимы он был серьёзно болен. Но мне казалось, что Кораблёв тоже ответил бы ей «хорошо», даже если бы он чувствовал себя очень плохо. Конечно, он не забыл, что она ему отказала.

Возможно, что теперь она немного жалела об этом. Пожалуй, она не стала бы так подробно расспрашивать о нём. Она интересовалась даже, в каких классах он преподаёт и как к нему относятся в школе.

Я отвечал односложно, и она в конце концов рассердилась.

– Фу, Саня, от тебя двух слов не добиться! Да и нет. Как будто язык проглотил! – сказала она с досадой.

Без всякого перехода она вдруг заговорила о Николае Антоныче. Очень странно... Она сказала, что считает его замечательным человеком. Я промолчал.

Антракт кончился, и мы пошли смотреть второе действие. Но в следующем антракте она опять заговорила о Николае Антоныче. Я заметил, что Катя нахмурилась. Губы у неё дрогнули, она хотела что-то сказать, но удержалась.

Мы ходили по кругу в фойе, и Марья Васильевна всё время говорила о Николае Антоныче. Это было невыносимо. Но это ещё и поражало меня: ведь я не забыл, как она прежде к нему относилась.

Ничего похожего! Он, оказывается, человек редкой доброты и благородства. Всю жизнь он заботился о своём двоюродном брате (я впервые услышал, как Марья Васильевна назвала покойного мужа Ваней), в то время как ему самому подчас приходилось туго. Он пожертвовал всем своим состоянием, чтобы снарядить его последнюю несчастную экспедицию.

– Николай Антоныч верил в него! – сказала она с жаром.

Всё это я слышал от самого Николая Антоныча и даже в тех же выражениях. Прежде Марья Васильевна не говорила его словами. Тут что-то было. Тем более, что хотя она говорила очень охотно, даже с жаром, мне всё мерещилось, что она сама хочет уверить себя, что всё это именно так: что Николай Антоныч – необыкновенный человек и что покойный муж решительно всем ему обязан.

Весь третий акт я думал об этом. Я решил, что непременно расспрошу Катю о её отце. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернулся?

После спектакля мы остались в полутёмном зрительном зале подождать, пока в раздевалке станет поменьше народу.

– Саня, что же ты никогда не зайдёшь? – спросила Марья Васильевна.

Я что-то пробормотал.

– Я думаю, что Николай Антоныч давно забыл об этой глупой истории, – продолжала Марья Васильевна строго. – Если хочешь, я поговорю с ним.

Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоныча позволение бывать у них, и я чуть-чуть не сказал ей: «Спасибо, не нужно».

Но в это время Катя заявила, что Николай Антоныч тут совершенно ни при чём, потому что я буду приходить к ней, а не к нему.

– Нет, нет! – испуганно сказала Марья Васильевна. – Зачем же? И ко мне и к маме.

Глава 5 КАТИН ОТЕЦ

Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца «покойный». Вообще, кроме Николая Антоныча, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нём. Портреты висели во всех комнатах, но говорили не особенно часто.

В конце концов, мне надоело гадать, тем более что можно было просто спросить у Кати, где её отец и жив он или умер. Я и спросил.

Вот что она мне рассказала.

Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она ещё спала, он вошёл в комнату и наклонился над её кроватью. Он погладил её и что-то сказал, кажется: «Посмотри, Маша, какая она бледная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе? Ладно?» И Катька чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Но она не показала, что проснулась, ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом, светлом зале за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от неё, а на её месте теперь сидела бабушка, которая всё вздыхала и говорила: «Господи!» А мама в странном, незнакомом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издали подмигивала Катьке.

За столом было очень весело, много народу, все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «ура», когда он кончил, а бабушка снова пробормотала: «Господи!» – и вздохнула. Потом все прощались с отцом и ещё с какими-то моряками, и он на прощанье высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми, большими руками.

«Ну, Маша», – сказал он маме. И они поцеловались крест-накрест...

Это был прощальный ужин и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае двенадцатого года он приехал в Энск проститься с семьёй, а в середине июня вышел на шхуне «Св. Мария» из Петербурга во Владивосток...

Первое время всё было по-прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно новая вещь: письмо от папы. «Вот подожди, придёт письмо от папы». И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю-другую, но потом всё-таки приходило. И вот пришло последнее письмо, из Югорского Шара. Правда, оно было последнее, но мама не особенно огорчалась и даже сказала, что так и должно быть: «Св. Мария» шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега.

Так и должно быть. И папа сам написал, что писем больше не будет. Но всё-таки это было очень грустно, и мама с каждым днём становилась всё молчаливее и грустнее.

«Письмо от папы» – это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пирог, когда приходило письмо от папы. А теперь вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело в жизни, появились длинные, скучные слова: «Так и должно быть» или: «Ещё ничего и не может быть».

Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, а мама с бабушкой всё говорили и говорили. А Катька слушала. Ей давно хотелось сказать: «Наверно, его волки съели», но она знала, что мама рассердится, и не говорила.

Отец «зимовал». В Энске давно уже было лето, а он всё ещё «зимовал». Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она слышала, как бабушка однажды сказала соседке: «Всё говорим – зимует, а жив ли – бог весть».

Потом мама написала «прошение на высочайшее имя». Это прошение Катька прекрасно помнила – она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для оказания помощи её несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия «безусловно являлись народная гордость и честь страны». Она надеялась, что «всемилоостивейший государь» не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради «национальной славы»...

Катьке казалось, что «высочайшее имя» – это что-то вроде крестного хода: много народу и впереди – архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это просто царь. Царь долго не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру. Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казённым имуществом я бы немедленно отдал его под суд».

Потом в Энск приехал Николай Антоныч, и в доме появились новые слова: «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шёпотом. Но все как-то узнали об этом: и бабушкины родственники Бубенчиковы и Катькины подруги. Все, кроме мамы.

Никакой надежды! Никогда не вернётся. Никогда не скажет что-нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой, что «перед обедом полезно выпить рюмку водки, ну, а если не полезно, так уж не вредно, а если не вредно, так уж приятно». Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никто не услышит, как он поёт по утрам, одеваясь: «Что наша жизнь? Игра!»

Никакой надежды! Он остался где-то далеко, на Крайнем Севере, среди снега и льда, и никто из его экспедиции не вернулся.

Николай Антоныч говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов – тысяча шестьсот восемьдесят восемь килограммов, окороков – двадцать. Сухого бульона Скорикова – семьдесят килограммов. А сколько сухарей, макарон, кофе! Половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа – сорок килограммов. Варенье, орехи. И всё это было куплено на деньги Николая Антоныча. Восемьдесят чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках.

Словом, если папа погиб, то, без сомнения, по своей собственной вине. Легко предположить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоныча, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на Крайнем Севере, и никто не знает, жив он или умер, потому что из тридцати человек команды ни один не вернулся домой.

Но у них в доме он долго ещё был жив. А вдруг откроется дверь – и войдёт! Таким же, каким он был в последний день на Энском вокзале. В синем кителе, в твёрдом белом воротничке, открытом, каких теперь уже не носят. Весёлый, с большими руками.

Многое в доме было ещё связано с ним. Мама курит – все знают, что она стала курить, когда он пропал. Бабушка гонит Катьку на улицу – снова он: он велел, чтобы Катька почаще бывала на воздухе. Книги с мудрёными названиями в узком стеклянном шкафу, которые никому не давали читать, – его книги.

Потом они переехали в Москву, в квартиру Николая Антоныча, – и всё переменялось. Теперь никто не надеялся, что вдруг откроется дверь – и войдёт. Ведь это был чужой дом, в котором он никогда не был.

Глава 6

СНОВА ПЕРЕМЕНЫ

Быть может, я не пошёл бы к Татариновым, если бы Катя не пообещала мне показать книги и карты капитана. Я посмотрел маршрут, и оказалось, что это тот самый знаменитый «северо-восточный проход», который искали лет триста. Наконец шведский путешественник Норденшельд прошёл его в 1871 году. Без сомнения, это было не очень просто, потому что минуло ещё двадцать пять лет, прежде чем другой путешественник, Вилькицкий, повторил его путь, только в обратном направлении. Словом, всё это было очень интересно, и я решил пойти...

Ничего не переменялось в квартире Татариновых, только вещей стало заметно меньше.

Исчезла, между прочим, картина Левитана, которая мне когда-то так понравилась, – прямая, просторная дорога в саду и сосны, освещённые солнцем. Я спросил у Кати, куда она делась.

– Подарили, – коротко отвечала Катя.

Я промолчал.

– Николаю Антонычу, – вдруг язвительно добавила Катя: – он обожает Левитана.

Должно быть, Николаю Антонычу подарили не только Левитана, потому что в столовой вообще стало как-то пустовато. Но морской компас по-прежнему стоял на своём месте, и стрелка по-прежнему показывала на север.

Никого не было – ни Марьи Васильевны, ни старушки.

Потом старушка пришла. Я слышал, как она раздевалась в передней и жаловалась Кате, что всё опять стало дорого: капуста шестнадцать копеек, телятина тридцать копеек, поминанье сорок копеек, яйца рубль двадцать копеек.

Я засмеялся и вышел в переднюю:

– Нина Капитоновна, а лимон?

Она обернулась с недоумением.

– Лимон мальчишки не утащили?

– Саня! – сказала Нина Капитоновна и всплеснула руками.

Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна.

– Короток, – сказала она с огорчением. – Не растёшь.

Она побежала в кухню – поставить молоко на примус – и через несколько минут вернулась обратно.

– Лимон вспомнил, – сказала она и засмеялась. – А что ж! И тащат!

Она стала совсем старенькая, согнулась и похудела. Знакомая безрукавка зелёного бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у неё по-прежнему был бодрый, озабоченный вид, а сейчас ещё и весёлый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал.

– Говорят, надо сырую гречу есть, – уверенно сказала она, – и вырастешь. У нас в Энске попик был. Вот какой! Всё гречу ел.

– И вырос? – серьёзно спросила Катя.

– Не вырос, а у него голос гуще стал. А прежде был писклявый-писклявый.

Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке:

– Ах! Убежало!

И она сама убежала.

Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен – «В стране льда и ночи», потом «Люции Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что-нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно. Поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала:

– Возьми что-нибудь, хочешь?

– А можно?

– Можно, – не глядя на меня, отвечала Катя.

Я не стал особенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, а принялся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук пять. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она называлась: «Причины гибели экспедиции Грили».

Я пришёл к Татариновым нарочно с таким расчётом, чтобы не застать Николая Антоныча: в это время всегда происходило заседание педагогического совета. Но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь.

Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антоныч появился на пороге.

– Я тысячу раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми, – сказал он. – Тебе пора отвыкать от этих привычек.

Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул.

– Мы живём в человеческом обществе, – мягко продолжал Николай Антоныч. – И одной из движущих сил этого общества является чувство уважения друг к другу. Ведь ты же знаешь, Катюша, что я не выношу громкого хлопанья дверьми. Остаётся подумать, что ты сделала это нарочно. Но я не хочу этого думать, да, не хочу...

И так далее, и так далее...

Я сразу понял, что он мелет эту галиматью, просто чтобы позлить Катю. Но прежде, помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней.

Он ушёл наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, всё время, пока Николай Антоныч говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги. Он ничего не заметил. Но я-то понял, в чём дело: он не должен знать, что она позволила мне взять эти книги!

Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушёл в ту же минуту! Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антоныч вернулся.

– Возможно, что ты обиделась, Катюша, – начал он снова. – Напрасно! Ты, без сомнения, отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек и как педагог.

Он мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух.

– Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком! Но ты – дочь моего покойного любимого брата. Ты – дочь человека, которому я пожертвовал всем: не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью.

Я подумал, что Николай Антоныч с каждым годом жертвует покойному брату всё больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, «как нравственной, так и материальной». Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь.

– Вот почему, – продолжал Николай Антоныч, – я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша! Я устал после трудового дня, я имею право на отдых, а вот видишь же, – говорю с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама как по возрасту, так и по развитию.

Катя молчала.

Я видел, как ей это трудно! Но у неё была сильная воля.

Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг. Поэтому я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять. Но он обозлился.

– Я напомню тебе, Катюша, – ровным, мягким голосом продолжал он, – одну известную римскую поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты считаешь

возможным водить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что, прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда...

И Николай Антоныч беспомощно раскинул руки.

Я немного смутился – именно потому, что сделал это, вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя.

– Это моё дело, с кем я дружу! – быстро ответила она и покраснела.

Надо полагать, что Нина Капитоновна была где-нибудь поблизости, может быть, даже за дверью, потому что, как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, захлопотала. Молоко вскипело, не хочет ли Николай Антоныч кофе? А то она только что с базара пришла и до обеда далеко... Похоже было, что ей не в первый раз приходится прекращать эти ссоры. Катя слушала её, упрямо опустив голову, Николай Антоныч – вежливо, но снисходительно...

Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжёлым чувством. Мне было жаль их – Марью Васильевну, старушку и Катю. Перемены в доме Татаринновых ужасно не понравились мне.

Глава 7

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. ВАЛЬКИНЫ ГРЫЗУНЫ. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Это был последний год в школе, и, по правде говоря, нужно было заниматься, а не ходить на каток или в гости. По некоторым предметам я шёл хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым – довольно плохо, например по литературе.

Литературу у нас преподавал Лихо – очень глупый человек, которого вся школа называла Лихосел. Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске, и в ней проекцией – ослиные уши. Лихо меня не любил и вот по каким причинам.

Во-первых, он однажды диктовал что-то и сказал: «Обстрактно». Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся.

Во-вторых, большинство ребят составляли свои сочинения из книг и статей – прочтёт критику и спишет. А я так не любил. Я сперва писал сочинение, а потом читал критику. Вот это-то и не нравилось Лихо! Он подписывал: «Претензия на оригинальничанье. Слабо!» Он, разумеется, хотел сказать – на оригинальность. Кто же станет претендовать на оригинальничанье? Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет «плохо».

Для последнего, «выпускного» сочинения Лихо предложил нам несколько тем, из которых самой интересной показалась мне «Крестьянство в послеоктябрьской литературе». Я принялся за неё с жаром, но скоро остыл – возможно, что из-за книг, которые дала мне Катя. После этих книг моё сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным.

Мало сказать, что это были просто интересные книги! Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андрэ и другие.

Никогда в жизни я так медленно не читал. Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчёркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был «совершенно согласен», то «совершенно несогласен». Он спорил с Нансеном – это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких-нибудь четырёхсот километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лёд сам решит задачу», – было написано вдоль одной страницы. Я перевернул её – и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан тою же рукой. Вот он:

«– Человеческий ум до того был поглощён этой задачей, что разрешение её, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. В этом состязании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских, а между тем горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись ещё во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса, а мы пойдём в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг».

Должно быть, это был отрывок из какого-то доклада, потому что на обороте стояла подпись: «Начальнику Главного Гидрографического управления», и дата: «17 апреля 1911 года».

Стало быть, вот куда метил Катин отец! Он хотел, как Нансен, пройти возможно дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По привычке, я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолёте.

Непонятно было только одно: летом 1912 года шхуна «Св. Мария» вышла из Петербурга во Владивосток. При чём же здесь Северный полюс?

На другой день, ещё до завтрака, я побежал в швейцарскую и позвонил Кате:

– Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?

Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивлённое, сонное мычанье. Потом она сказала:

– Н-н-нет. А что?

– Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх, ты!

– Почему «эх, ты»?

– О своём отце таких вещей не знаешь... Ты сегодня свободна?

– Иду с Киркой в Зоопарк.

Гм... в Зоопарк! Валька давно звал меня в Зоопарк посмотреть его грызунов, и это было просто свинство, что я до сих пор не собрался.

Я сказал Кате, что встречу её у входа.

Кирка была та самая Кирен, которая когда-то читала «Дубровского» и доказывала, что «Маша за него вышла». Она стала теперь огромной девицей, с белокурыми косами, завязанными вокруг головы. По-прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда вместо возражений она начинала хохотать, и так неожиданно громко, что все вздрагивали, а Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши.

Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа, но его почему-то не было, а брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно.

Наконец он пришёл. Он покраснел, когда я знакомил его с девицами, и пробормотал, что боится, что «грызуны – это вам неинтересно». Катя вежливо возразила, что, напротив, очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнёс в защиту Евгения Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он – сотрудник лаборатории экспериментальной биологии и что это «к нему».

Тогда Зоосад был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие представляли собою самые обыкновенные, покрытые снегом поля. Валька сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и так далее. Но мы не видели никаких песцов и вообще ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово.

Ему не терпелось показать нам своих грызунов, и он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь Зоосад потащил к какому-то грязноватому дому.

В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом. Во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны – это обыкновенные мыши.

Их было очень много, и все они были чем-то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька всё говорил и говорил без конца.

Мы слушали его с уважением. Особенно Кирен. Потом её вдруг затрясло, и она сказала, что ненавидит мышей.

– Дура! – тихо сказала ей Катя.

Кирен засмеялась.

– Нет, правда, гадость! – сказала она.

Валька тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше.

– Вот скука! Посмотрим хоть обезьян, – предложила Кирен.

И мы пошли смотреть обезьян.

Вот где была вонь! И не сравнить с Валькиными грызунами! Кирен объявила, что не будет дышать.

– Эх, ты! А как же сторожа? – спросила Катя.

И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным видом.

Это был Гаер Кулий! С минуту я сомневался – ведь я его больше восьми лет не видел. Но вот он выступил вперёд и сказал своим густым, противным голосом:

– Обезьяна-макака...

Он!

Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал. Он постарел, нос стал какой-то утиный. И кудри были уже не те – редкие, грязные, седые. От прежнего молодцеватого Гаера остались только усы кольцами да угри.

– На груди и брюхе животного, – продолжал Гаер с хорошо знакомым мне назидательно-угрожающим видом, – вы найдёте сосцы, известные как органы молочного развития ихних детей.

Он, он! Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул:

– Взгляни-ка на него.

Она посмотрела.

– Знаешь, кто это?

– Ну!

– Мой отчим.

– Врёшь!

– Честное слово.

Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать.

– В следующей клетке вы найдёте человекообразного обезьяну-гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помрачение, когда он как бешеный носится по своему помещению!

Бедный гиббон! Я вспомнил, как и на меня находило «помрачение», когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры.

Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошёл с ума! Но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай.

– Палочки должны быть попиндикулярны, – сказал я негромко.

Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона.

– В следующей клетке, – продолжал Гаер, – вы найдёте бесхвостую мартышку из Гибралтара. По развитию она как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладёт про запас лакомые куски своей пищи.

– Ну, понятно, – сказал я, – каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением – это ещё вопрос.

Я сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка прыснула. Гаер замолчал и устался на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое-то смутное воспоминание, казалось, мелькнуло в его тупой башке... Но он не узнал меня. Ещё бы!

– Мы их обеспечиваем, – уже другим, угрюмо-деловым, тоном сказал он. – Каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь.

Он спохватился.

– Посмотрите на них сзади, – продолжал он, – и вы увидите, что эта область является у них ненормально красной. Это не кожа, а твёрдая кора, вроде мозоль.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я очень серьёзно, – а бывают говорящие обезьяны? Кирен засмеялась.

– Не слыхал, – недоверчиво возразил Гаер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю серьёзно.

– Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани, – продолжал я, – а потом её выгнали, и она занялась воспитанием детей.

Гаер снисходительно улыбнулся:

– Каких детей?

– Чужих. Она была их подставкой для сапог, – продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний, – особенно девочку, потому что мальчик, чего доброго, мог бы дать и сдачи.

Я говорил всё громче. Гаер слушал открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал...

– После обеда нужно было благодарить её... – Я отмахнулся от Киры, которая испуганно схватила меня за локоть. – Хотя эта подлая обезьяна не работала, а жила на чужой счёт и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она поступила в батальон смерти и получила за это двести рублей и новую форму. Она говорила речи!.. – Кажется, я заскрежетал зубами. – А когда этот батальон разгромили, она удрала из города и унесла всё, что было в доме.

Наверно, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гаером и мной.

Гаер пробормотал что-то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и заходили.

– Саня! – повелительно сказала Катя.

– Подожди! – Я отстранил её. – И это счастье, что он удрал. Потому что я бы его...

– Саня!

Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову. Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Катю. Мне стало стыдно, что я так орал.

– Пошли, – коротко сказала она.

Мы шли по Зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что-то шепнула ей.

– Подлец! – пробормотал я.

Я ещё не мог успокоиться:

– Сегодня же передам через Вальку заявление в Зоопарк. Зачем они держат такого подлека? Он белогвардеец.

– Я теперь тебя боюсь, – сказала Катя. – Ты, оказывается, бешеный. Вон, даже губы побелели.

– Это потому, что мне хотелось его убить, – сказал я. – Ладно, чёрт с ним! Поговорим о чём-нибудь другом... Как вам понравились гиббоны?

Глава 8

БАЛ

При нашей школе была столярная мастерская, и я работал в ней по вечерам. Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ, и можно было хорошо заработать.

«Крестьянство в послеоктябрьской литературе» было окончено. Я рассердился и написал его в одну ночь. Но у меня были и другие долги – например, немецкий, которого я не любил. Словом, в конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток – и то не катались. Лёд был очень изрезан: с утра на катке тренировались хоккейные команды. Мы только выпили чаю в буфете.

Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима.

– Нет, не написал. Но Валька говорит, что его всё равно уже нету.

– Где же он?

– А чёрт его знает! Сбежал.

Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу, но мне неохота было вспоминать об этом подлеце, и я промолчал. Она всё-таки спросила. Пришлось рассказать – очень кратко – о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец и мать вышла за Гаера. Катя удивилась, что у меня есть сестра.

– Как её зовут?

– Тоже Саня.

Но ещё больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энска.

– Сколько ей лет?

– Шестнадцать.

Катя посмотрела на меня с негодованием:

– Свинья!

Это действительно было свинство, и я поклялся, что напишу в Энск.

– Когда школу кончу. А сейчас – что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив, здоров... Неинтересно.

Это была наша последняя встреча перед каникулами, потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в шесть часов утра и садился за «Самолётостроение», а вечером работал в столярной, – случалось, что и до поздней ночи...

Но вот кончилось полугодие. Одиннадцать свободных дней! Первое, что я сделал, – позвонил Кате и пригласил её в нашу школу на костюмированный бал.

В афише было написано, что бал – антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись к этой затее, и только два или три костюма были на антирелигиозные темы. Так, Шура Кочнев, о котором пели:

В двенадцать часов по ночам
Из спальни выходит Кочан, —

оделся ксёндзом. И очень удачно! Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл. Другие ребята просто волочили свои рясы по полу и хохотали.

Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замёрзшая, красная, как бурак, и сразу, ещё в раздевалке, побежала к печке, пока я сдавал её пальто и калоши.

– Вот так мороз, – сказала она и приложилась щекой к печке, – градусов двести!

Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком, и над косой большой синий бант.

Удивительно, как шёл к ней этот бант, и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее! Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем лёгкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли в актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую. Но делать нечего! Я сделал вид, что мне всё равно, и пошёл к артистам, в уборные. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился. Я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать.

– Кто это? – вдруг спросила она с ужасом.

Я посмотрел:

– Где?

– Вон – рыжий.

Ничего особенного, это был только Ромашка! Он приоделся и был в том самом галстуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем недурён. Но Катя смотрела на него с отвращением.

– Как ты не понимаешь – он просто страшный! – сказала она. – Ты привык, и поэтому ты не замечаешь. Он похож на Урию Гипа.

– На кого?

– На Урию Гипа.

Я притворился, что знаю, кто такой Урия Гип, и сказал многозначительно:

– А-а.

Но Катю провести было не так-то просто!

– Эх, ты, Диккенса не читал, – сказала она. – А ещё считаешься развитым.

– Кто это считает, что я развитой?

– Все. Я как-то разговорилась с одной девочкой из вашей школы, и она сказала: «Григорьев – яркая индивидуальность». Вот так индивидуальность! Диккенса не читал.

Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал и только не читал про Урию Гипа, но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. На этот раз меня пустили к артистам и даже дали работу: загримировать одну девочку под раввина. Это была нелёгкая задача. Я провозился с ней полчаса, а когда вернулся в зал, Катя всё ещё танцевала – теперь уже с Валькой.

В сущности, это была довольно забавная картина: Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были чёрт знает какие интересные вещи, а Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась. Но мне почему-то стало скучно.

Кто-то нацепил мне на пуговицу номер – играли в почту. Я сидел, как каторжник, с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма: «Довольно притворяться. Скажите аткровенно, кто вам нравится. Пиши ответ № 140». Так и было написано: «аткровенно». Другое было загадочное: «Григорьев – яркая индивидуальность, а Диккенса не читал». Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной.

– У вас весело, – сказала она, – только очень жарко. Что – теперь станешь учиться танцевать?

Я сказал, что не стану, и мы пошли в наш класс. Там было устроено что-то вроде фойе: по углам стояли бутафорские кресла из трагедии «Настал час», и лампочки были обёрнуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту – последнюю в правой колонне. Не помню, о чём мы говорили, о чём-то серьёзном, – кажется, о говорящем кино. Катя сомневалась в этой затее, и я в доказательство привёл ей какие-то данные сравнительной быстроты звука и света.

Она была совершенно синяя – над нами горела синяя лампочка, и, должно быть, поэтому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать её, ещё когда она только что пришла, замёрзшая, покрасневшая, и приложила к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, – возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глаза и поцеловал её в щёку.

Ого, как она рассердилась!

– Что это значит? – спросила она грозно.

Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет: «мы незнакомы» или что-нибудь в этом роде.

– Свинство какое! – сказала она с негодованием.

– Нет, не свинство, – возразил я растерянно.

С минуту мы молчали, а потом Катя попросила меня принести воды. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию. Как дважды два, она доказала, что я к ней равнодушен, что «это мне только кажется» и что, если бы на её месте в данную минуту была другая девушка, я бы и её поцеловал.

– Ты просто стараешься себя в этом уверить, – сказала она убеждённо, – а на самом деле – ничего подобного!

Она допускала, что я не хотел её обидеть. Ведь верно же? Но всё-таки мне не следовало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего не чувствую...

– Никакой любви, – прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела.

Вместо ответа я взял её руку и провёл ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полутёмном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали и я «плавал», где я стоял у доски и доказывал теоремы, – на моей парте, в которой ещё лежали скомканные Валькины шпаргалки. Это было странно. Но как хорошо! Не могу передать, как мне было хорошо в эту минуту!

Потом мне показалось, что кто-то громко дышит в углу. Я обернулся и увидел Ромашку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разумеется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что-то пробормотал и подошёл к нам с вялой улыбкой:

– Григорьев, что ж ты меня не познакомишь?

Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испуганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы оба прыснули, и Катя сказала, что он похож не только на Урию Гипа, но ещё на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. Она угадала: Ромашку в классе иногда дразнили совой. Мы вернулись в зал.

Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил её, как настоящий ксёндз, и даже сунул к губам дрожащую руку.

Танцы уже кончились, и началось концертное отделение – отрывки из «Ревизора», которого репетировал наш театр.

Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я. По моему, и она тоже. Я шепнул ей:

– Мы ещё поговорим. Хорошо?

Она серьёзно посмотрела на меня и кивнула.

Глава 9

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. БЕССОННИЦА

Это случилось со мной не в первый раз, что жизнь, которая шла одним путём – скажем, по прямой, – вдруг делала крутой поворот, и начинались «бочки» и «иммельманы».

Так было, когда восьмилетним мальчиком я потерял монтёрский нож возле убитого сторожа на понтонном мосту. Так было, когда в распределителе Наробраза я начал со скуки лепить лясы. Так было, когда я оказался случайным свидетелем «заговора» против Кораблёва и был с позором изгнан из дома Татариновых. Так было и теперь, когда я снова был изгнан, – и на этот раз навсегда!

Вот как начался очередной поворот. Мы с Катей назначили свидание на Оружейном, у жестяной мастерской, – и она не пришла.

Всё не ладилось в этот печальный день! Я удрал с дополнительных занятий, – это было глупо, потому что Лихо обещал после занятий раздать домашние сочинения. Мне хотелось обдумать наш разговор. Но где тут думать, если через несколько минут я замёрз, как собака, и только и делал, что зверски топал ногами и хватался за нос да за уши!

И всё-таки это было дьявольски интересно. Как необыкновенно всё изменилось со вчерашнего дня! Вчера, например, я мог бы сказать: Катька – дура! А сегодня – нет. Вчера я выругал бы её за опоздание, а сегодня – нет. Но ещё интереснее было думать о том, что это и есть та самая Катька, которая когда-то спросила меня, читал ли я «Елену Робинзон», которая взорвала лактометр и за это получила от меня по шее. Она ли это?

«Она!» – подумал я весело.

Но она была теперь не она, и я – не я.

Однако прошёл уже целый час. Тихо было в переулке, только маленький носатый жестянщик несколько раз выходил из своей мастерской и смотрел на меня с пугливым, подозрительным видом. Я повернулся к нему спиной, но это, кажется, только усилило его подозрения. Я перешёл на другую сторону, а он всё стоял на пороге в клубах пара, как бог на потолке энского собора. Пришлось спуститься вниз, к Тверской...

Уже пообедали, когда я вернулся в школу. Я пошёл на кухню погреться и получил от повара нагоняй и тарелку тёплой картошки. Я молча съел картошку и отправился искать Вальку. Но Валька был в Зоопарке. Моё сочинение Лихо отдал Ромашке.

Я был расстроен и поэтому не обратил внимания на то, с каким волнением встретил меня Ромашка. Он просто завертелся, когда я вошёл в библиотеку, где мы имели обыкновение учить уроки.

Несколько раз он засмеялся без всякой причины и поспешно отдал мне сочинение.

– Вот Лихосел так Лихосел, – сказал он заискивающе. – На твоём месте я бы пожаловался.

Я перелистал свою работу. Вдоль каждой страницы шла красная черта, а в конце было написано: «Идеализм. Чрезвычайно слабо».

Я равнодушно сказал: «Дурак», захлопнул тетрадь и вышел. Ромашка побежал за мной. Удивительно, как он юлил сегодня: забегал вперёд, заглядывал мне в лицо! Должно быть, он был рад, что я провалился со своим сочинением. Мне и в голову не приходила истинная причина его поведения.

– Вот так Лихосел, – всё повторял он. – Хорошо про него Шура Кочнев сказал: «У него голова как кокосовый орех: снаружи твёрдо, а внутри жидко».

Он неприятно засмеялся и опять забежал вперёд.

– Иди ты к чёрту! – сказал я сквозь зубы.

Он отстал наконец...

Ещё ребята не вернулись из культпохода, а я уже был в постели. Но, пожалуй, мне не следовало ложиться так рано. Сон прошёл, чуть только я закрыл глаза и повернулся на бок.

Это была первая бессонница в моей жизни. Я лежал очень спокойно и думал. О чём? Кажется, обо всём на свете!

О Кораблёве – как я завтра отнесу к нему сочинение и попрошу прочитать. О жестянщике, который принял меня за вора. О книге Катиного отца «Причина гибели экспедиции Грили».

Но о чём бы я ни думал – я думал о ней! Я начинал дремать и вдруг с такой нежностью вспоминал её, что даже дух захватывало, и сердце начинало стучать медленно и громко. Я видел её отчётливее, чем если бы она была рядом со мною. Я чувствовал на глазах её руку.

«Ну ладно – влюбился так влюбился. Давай-ка, брат, спать», – сказал я себе.

Но теперь, когда так чудно стало на душе, жалко было спать, хотя и хотелось немного. Я уснул, когда начинало светать, и дядя Петя ворчал в кухне на Махмета, нашего котёнка.

Глава 10

НЕПРИЯТНОСТИ

Первое свидание и первая бессонница – это была всё-таки ещё прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности.

После завтрака я позвонил Кате – и неудачно. Подошёл Николай Антоныч:

– Кто её спрашивает?

– Знакомый.

– А именно?

Я молчал.

– Ну-с?

Я повесил трубку...

В одиннадцать часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская-Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал мочёные яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась – маленькая, сгорбленная, в своём зелёном бархатном пальто-салопе, с зонтиком – в такой мороз! – с неизменной кошелёчкой.

– Нина Капитоновна!

Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился:

– Нина Капитоновна!..

Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием.

– Вот что, голубчик мой, – сказала она строго. – Я на тебя, по старой памяти, не сержусь. Но только, чтобы я тебя не видела и не слышала.

Голова у неё немного тряслась.

– Ты – сюда, а мы – туда! И чтобы не писал, не звонил! Вот уж могу сказать: не думала я! Видно, ошиблась!

Она подхватила кошель, и – хлоп! – калитка закрылась перед самым моим носом.

Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошёл с ума: я или она?..

Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым – третий.

Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить с ним о моём сочинении!

Мы вместе поднимались по лестнице: он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я – испытывая страшное желание ударить его ногой.

– Товарищ Лихо, я получил сочинение, – вдруг сказал я. – Вы пишете: «Идеализм». Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать.

– Мы поговорим потом.

– Нет, мы поговорим сейчас, – возразил я. – Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете!

– Что, что такое? – спросил он и нахмурился.

– Вы не имеете понятия об идеализме, – продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. – Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и поэтому написали: «Идеализм». Недаром про вас говорят... – Я остановился на секунду, почувствовав, что сейчас скажу страшную грубость. Потом всё-таки сказал: – Что у вас голова как кокосовый орех: снаружи твёрдо, а внутри жидко.

Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще:

– Так?!

И быстро ушёл.

Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблёву. Это был грозный признак: Кораблёв редко вызывал к себе на квартиру.

Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошёл, посторонился с каким-то отвращением.

– Вот что! – У него сурово вздрогнули усы. – Хорошие сведения о тебе! Приятно слышать!

– Иван Павлыч, я вам сейчас всё объясню, – возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. – Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это ещё не идеализм! Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я – идеалист. Он должен знать, что это для меня – оскорбление.

Я протянул Кораблёву тетрадку, но он даже не взглянул на неё.

– Тебе придётся объяснить своё поведение на педагогическом совете.

– Пожалуйста!.. Иван Павлыч, – вдруг сказал я, – вы давно были у Татариновых?

– А что?

– Ничего.

Кораблёв посмотрел мне прямо в глаза.

– Ну, брат, – спокойно сказал он, – я вижу, ты неспроста нагрубил Лихо. Садись и рассказывай. Только, чур, не врать.

И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблёву о переменах в доме Татариновых, – о переменах, которые так не понравились мне.

Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще мой рассказ, кажется, расстроил его. Один раз он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу.

– Хорошо, – сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чём дело. – Я сделаю это. А ты зайди через час.

– Иван Павлыч, через полчаса!

Он усмехнулся – печально и добродушно...

Я провёл эти полчаса в актовом зале. Паркет в актовом зале выложен ёлочкой, и, когда я шёл от окон к дверям, тёмные полосы казались светлыми, а светлые – тёмными. Солнце светило вовсю, у широких окон медленно кружились пылинки. Как все хорошо! И как плохо!

Когда я вернулся, Кораблёв сидел на диване и курил. Мохнатый зелёный френч, который он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий ворот рубахи расстегнут.

– Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить, – сказал он. – Я теперь знаю все твои тайны.

– Какие тайны?

Он посмотрел на меня, как будто впервые увидел.

– Только нужно уметь их хранить, – продолжал он. – А ты не умеешь. Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем-нибудь, а завтра об этом знает вся школа. И хорошо ещё, если только школа.

Должно быть, у меня был очень глупый вид, потому что Кораблёв невольно усмехнулся – впрочем, едва заметно. По меньшей мере, двадцать мыслей сразу пронеслись в моей голове. «Кто это сделал? Ромашка! Я его убью! Так вот почему Катя не пришла! Вот почему старушка меня прогнала!»

– Иван Павлыч, я её люблю! – сказал я твёрдо.

Он развёл руками.

Мне все равно, пускай об этом говорит вся школа!

– Ну, школа-то – пожалуй, – сказал Кораблёв. – Но вот что говорят Марья Васильевна и Нина Капитоновна, это тебе не все равно, не правда ли?

– Нет, тоже все равно! – возразил я с жаром.

– Позволь, но тебя, кажется, выгнали вон из дома?

– Из какого дома? Это не её дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдёт из этого дома.

– Позволь, позволь... Значит, что же? Ты собрался жениться?

Я немного опомнился:

– Это никого не касается!

– Разумеется... – поспешно сказал Кораблёв. – Но, понимаешь, я боюсь, что это не так просто. Нужно все-таки и Катю спросить. Может быть, она ещё и не собирается замуж. Во всяком случае, придётся подождать, пока она вернётся из Энска.

– А-а, – сказал я очень спокойно. – Они отправили её в Энск? Прекрасно.

Кораблёв снова посмотрел на меня – на этот раз с нескрываемым любопытством.

– У неё заболела тётка, и она поехала её проводить, – сказал он. – Она поехала на несколько дней и к началу занятий вернётся. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться!

– Я не волнуюсь, Иван Павлыч. А что касается Лихо, – если хотите, я перед ним извинюсь. Только пускай и он возьмёт назад своё заявление, что я идеалист...

Как будто ничего не случилось, как будто Катю не отправили в Энск, как будто я не решил убить Ромашку, – мы минут пятнадцать спокойно говорили о моём сочинении. Потом я простился, сказал, что, если можно, завтра снова зайду, и ушёл.

Глава 11

ЕДУ В ЭНСК

Убить Ромашку! Я ни минуты не сомневался в том, что он это сделал. Кто же ещё! Он сидел в фойе и видел, как я поцеловал Катю.

С ненавистью поглядывая на его кровать и ночной столик, я полчаса ждал его в спальне. Потом написал записку, в которой требовал объяснений и грозил, что в противном случае перед всей школой назову его подлецом. Потом разорвал записку и отправился к Вальке в Зоопарк.

Конечно, он был у своих грызунов! В грязном халате, с карандашом за ухом, с большим блокнотом под мышкой, он стоял у клетки и кормил из рук летучих мышей. Он кормил их червями и при этом насвистывал с очень довольным видом.

Я окликнул его. Он обернулся с недоумением, сердито махнул рукой и сказал:

– Подожди!

– Валя, на одну минуту!

– Постой, ты меня собьёшь. Восемь, девять, десять...

Он считал червей.

– Вот жадюга! Семнадцать, восемнадцать, двадцать...

– Валька! – взмолился я.

– Выгоню вон! – быстро сказал Валька.

Я с ненавистью посмотрел на летучих мышей. Они висели вниз головой, лопоухие, с какими-то странными, почти человеческими мордами. Мерзавцы! Ничего не поделаешь! Я должен был ждать, пока они нажрут.

Наконец! Но, глядя себя по носу грязными пальцами, Валька ещё с полчаса записывал что-то в блокнот. Вот кончилась и эта мука!

– Иди ты к чёрту! – сказал я ему. – Всю душу вымотал со своими зверями... У тебя есть деньги?

– Двадцать семь рублей! – с гордостью отвечал Валька.

– Давай всё...

Это было жестоко: я знал, что Валька копил на каких-то змей. Но что же делать? У меня было только семнадцать рублей, а билет стоил ровно вдвое.

Валька слегка заморгал, потом серьёзно посмотрел на меня и вынул деньги.

– Уезжаю.

– Куда?

– В Энск.

– Зачем?

– Приеду – расскажу. А пока вот что: Ромашка – подлец! Ты с ним дружишь, потому что не знаешь, какой он подлец. А если знаешь, то ты сам подлец! Вот и все. До свиданья.

Я был уже одной ногой за дверью, когда Валя окликнул меня – и таким странным голосом, что я мигом вернулся.

– Саня, – пробормотал он, – я с ним не дружу. Вообще...

Он замолчал и снова начал сандачить свой нос.

– Это я виноват, – объявил он решительно. – Я должен был тебя предупредить. Помнишь историю с Кораблёвым?

– Ещё бы мне её не помнить!

– Ну вот! Это – он.

– Что – он?

– Он пошёл к Николаю Антонычу и все ему рассказал.

– Врёшь!

Мигом вспомнил я этот вечер, когда, вернувшись от Татариновых, я рассказал Вальке о заговоре против Кораблёва.

– Позволь, но ведь я же с тобой говорил.

– Ну да, а Ромашка подслушал.

– Что ж ты молчал?

Валька опустил голову.

– Он взял с меня честное слово... – пробормотал он. – Кроме того, он грозился, что ночью будет на меня смотреть. Понимаешь, я терпеть не могу, когда на меня смотрят ночью. Теперь-то я понимаю, что это ерунда. Это началось с того, что я один раз проснулся – и вижу: он на меня смотрит.

– Ты просто дурак, вот что!

– Он записывает в книжку, а потом доносит Николаю Антонычу, – печально продолжал Валька. – Он меня изводит. Донесёт, а потом мне рассказывает. Я уши затыкаю, а он рассказывает.

Года три тому назад в школе говорили, что Ромашка спит с открытыми глазами. Это была правда. Я сам видел однажды, как он спал, и между веками ясно была видна полоска глазного яблока – какая-то мутноватая, страшноватая... Это было неприятно – и спит, и не спит! Ромашка говорил, что он никогда не спит. Разумеется, врал – просто у него были короткие веки. Но находились ребята, которые верили ему. Его уважали за то, что он «не спит», и немного боялись. Должно быть, отсюда пошла и Валькина боязнь: ведь он пять лет проспал рядом с Ромашкой, на соседней койке.

Все это смутно пронеслось в моей голове. «Балда, – подумал я. – Хорош естествоиспытатель!»

– Эх ты, тряпка! – сказал я. – Мне сейчас некогда разговаривать, но, по-моему, об этой книжечке ты должен написать в ячейку. По правде говоря, я не думал, что он тебя так оседлал. Сколько «честных» слов ты ему надавал?

– Не знаю... – пробормотал Валька.

– Посчитаем.

Он печально посмотрел на меня...

Из Зоопарка я поехал на вокзал за билетом, а оттуда в школу. У меня была хорошая готовальня, и я решил захватить её с собой – на всякий случай, чтобы продать, если придётся туго.

И вот ко всем моим глупостям прибавилась ещё одна – и я с лихвой за неё расплатился!

В спальне было человек десять, когда я вошёл, и, между прочим, Таня Величко – девочка из нашего класса.

Все были заняты – кто чтением, кто разговором.

Шура Кочнев изображал нового математика: подняв руки, он бросался к воображаемой доске и медленно, с достоинством садился. Кругом хохотали. Словом, никто не обращал внимания на Ромашку, который стоял на коленях у моей кровати и рылся в моём сундучке.

Эта новая подлость меня поразила. Кровь бросилась мне в голову, но я подошёл к нему ровными шагами и спросил ровным голосом:

– Что ты ищешь, Ромашка?

Он испуганно поднял на меня глаза, и как я ни был взволнован, однако заметил, что в эту минуту он необыкновенно походил на сову: удивительно бледный, с красными большими ушами.

– Катины письма? – продолжал я. – Хочешь передать их Николаю Антонычу? Вот они. Получай!

И я с размаху ударил его ногой в лицо.

Все было сказано тихим голосом, и поэтому никто не ожидал, что я его ударю. Кажется, я двинул его ещё два или три раза. Я бы убил его, если бы не Таня Величко. Пока мальчики стояли, разинув рты, она смело бросилась между нами, вцепилась в меня и оттолкнула с такой силой, что я невольно сел на кровать.

– Ты с ума сошёл!

Сквозь какой-то туман я увидел её лицо и понял, что она смотрит на меня с отвращением. Я опомнился.

– Ребята, я вам все объясню, – сказал я нетвёрдо.

Но они молчали. Ромашка лежал на полу, закинув голову, и тоже молчал. На щеке у него был синий кровоподтёк. Я взял сундучок и вышел...

С тяжёлым чувством я часа три бродил по вокзалу. С неприятным, отвратительным чувством я читал газету, изучал расписание, пил чай в буфете третьего класса. Мне хотелось есть, но чай показался мне невкусным, бутерброды не лезли в рот, – во рту был такой вкус, как будто я наелся червей, как Валькины летучие мыши. Я чувствовал себя каким-то грязным после этой сцены. Эх, не нужно было возвращаться в школу! Готовальня? На кой она мне чёрт! Неужели не достал бы я на обратный билет у тётки Даши?

Глава 12 РОДНОЙ ДОМ

Одно впечатление осталось у меня от этого путешествия по тем местам, где мы с Петькой Сковородниковым когда-то бродили, воруя и побираясь, – впечатление необыкновенной свободы.

Впервые в жизни я ехал по железной дороге с железнодорожным билетом. Я мог сидеть у окна, разговаривать с соседями, курить, если бы я вообще курил. Не нужно было лезть под лавку, когда проходил контролёр. С равнодушным видом, не прерывая разговора, я отдал ему свой билет. Это было необыкновенное ощущение, какое-то просторное, хотя в вагоне было довольно тесно. Оно развлекало меня, и я думал теперь об Энке – о сестре, о тётке Даше, о том, как я свалюсь к ним как снег на голову, и как они меня не узнают.

С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться – не умер ли? Но, как видите, я не умер.

Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней разлуки! Все знакомо – и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда-то он казался мне огромным. Неужели это Застенная? Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня: за липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрасные новые здания. Чёрные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и чёрные тени от них косо лежали на белом снегу – это было очень красиво.

Я быстро шёл и на каждом шагу то узнавал старое, то поражался переменам. Вот приют, в который тётка Даша собиралась отдать нас с сестрой; он стал зелёного цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочёл и не поверил глазам: «В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин». Чёрт возьми! В этом доме! То-то задрали бы носы приютские, если бы они это знали.

А вот и «присутственные места», в которые мы с мамой когда-то носили прошение! Они стали теперь совсем «неприсутственными», старинные низкие решётки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка: «Дом культуры».

А вот и Крепостной вал, – сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась предо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но ещё больше меня поразило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер и няньки с закутанными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. Этого я не ожидал. Долго стоял я на Крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начинались зады москательных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огромной шубе расхаживал охранник. Я подошёл к нему.

– Энская электростанция, – важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука.

– Вы случайно не знаете, где живёт Сковородников?

– Судья?

– Нет.

– Тогда не знаю. У нас один Сковородников – судья.

Я отошёл. Может ли быть, что старик Сковородников стал судьёй? Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может.

– А каков из себя судья? Высокого роста?

– Высокого.

– Усатый?

– Нет, не усатый, – как бы обидясь за Сквородникова, возразил охранник.

Гм... не усатый? Мало надежды.

– А где этот судья живёт?

– На Гоголевской, в доме бывшем Маркузе.

Я знал этот дом – один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик. Но делать было нечего, и я пошёл на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сквородников снял усы, стал судьёй и поселился в таком великолепном доме.

Через полчаса я был на Гоголевской, у дома Маркузе. Львиные морды постарели за восемь лет, но все-таки это были ещё внушительные, сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. Позвонить, что ли? Или спросить у милиционера, где адресный стол?

Кисейные занавески в тёти Дашином вкусе виднелись за окнами. Я вдруг решился и позвонил.

Мне открыла девушка лет шестнадцати, в синем фланелевом платье, гладко причёсанная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая – это меня сбило.

– Здесь живут Сквородниковы?

– Да.

– А... Дарья Гавриловна дома?

– Она скоро придёт, – ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопытством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с выющимися косами и с голубыми глазами. Нет, не Саня.

– Можно подождать?

– Пожалуйста.

Я поставил свой сундучок в передней, снял пальто, и она провела меня в большую, светлую комнату, чисто и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль – это было не похоже на тётю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, – это была уже как бы сама тётя Даша.

Надо полагать, что я осматривался с довольно глупым, радостным выражением, потому что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови – совершенно как мать. Я понял, что это все-таки Саня.

– Саня? – сказал я не очень уверенно.

Она удивилась:

– Да.

– Постой, ты же была белая, – продолжал я дрожащим голосом. – В чём дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая. А теперь стала какая-то чёрная.

Она остолбенела, даже открыла рот.

– В какой деревне?

– Когда умер отец, – сказал я и засмеялся. – Эх, ты, забыла! Все забыла! И меня не помнишь!

Язык у меня немного заплетался – должно быть, от радости. Ведь я все-таки очень любил её и восемь лет не видел, и она была так похожа на мать.

– Саня? – сказала и она наконец. – Господи! Да ведь мы думали, что ты давно умер.

Она обняла меня:

– Саня, Саня! Неужели это ты?... И тёти Даши нет... Да садись же, что ты стоишь? Откуда ты? Когда приехал?

Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундучком.

– Да подожди же! Куда ты? Скажи хоть, как ты живёшь? Как тётя Даша?

– А ты-то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя. Даже давали объявления в газетах.

– Не читал, – сказал я с раскаянием.

Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость – забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тётя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вернулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня.

– И Петя разыскивал тебя, – продолжала она. – Вот ещё недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живёшь в Ташкенте.

– Петька?

– Ну да.

– Сквородников?

– Ну какой же ещё!

– Где он?

– В Москве, – сказала Саня.

Я был поражён:

– Давно ли?

– А вот как вы с ним удрали.

Петька в Москве! Я не мог прийти в себя от изумления.

– Саня, да ведь и я живу в Москве!

– Ну да?

– Честное слово! Как же он? Что делает?

– Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает.

– Фу, чёрт! Да ведь и я же!.. У тебя его карточки нет?

Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросил о карточке. Она сказала: «Сейчас», вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана.

– Послушай, ведь он красивый! – сказал я и захохотал. – Рыжий?

– Рыжий.

– Фу, чёрт, как хорошо! А старик? Как старик? Неужели правда?

– Что – правда?

– Судья?

– Эва! Да он уже пять лет судья.

Мы все спрашивали и перебивали друг друга и снова спрашивали. Потом Саня убежала на кухню, но я пошёл за ней и сказал, что мне без неё скучно. Это была святая правда – без неё мне сразу стало скучно.

Мы поставили самовар, затопили плиту, а потом прозвенел глухой колокольчик в передней.

– Тётя Даша!

– Ты останься здесь, – сказала шёпотом Саня, – а я её подготовлю. Правда, у неё очень сердце плохое...

Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор:

– Тётя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот.

– Ну, говори, коза.

– Тётя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придётся.

– Петя приехал?

– Петя-то Петя, да не совсем. Тётя Даша, не волнуешься?

– Нет.

– Честное слово?

– Фу ты! Ну, честное слово.

– Вот кто приехал! – И Саня открыла дверь в кухню.

Замечательно, что тётя Даша узнала меня с первого взгляда.

– Саня, – тихо сказала она.

Она обняла меня. Потом села и закрыла глаза. Я взял её за руку.

– Голубчик ты мой! Да ты ли это?

– Я, тётя Даша.

– Да не во сне ли я?

– Нет, тётя Даша.

Но тётя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула.

– Голубчик ты мой! Жив? Да где же ты был? Ведь мы тебя по всему свету искали.

– Знаю, тётя Даша. Это я виноват.

– «Виноват»! Господи! Приехал и ещё говорит – виноват. Милый ты мой! Да какой же ты молодец стал! Какой красавец!

Тёте Даше я всегда казался красавцем...

Что ещё вспомнить, что ещё рассказать об этой незабываемой встрече? Разве, что тётя Даша вскочила на полуслове и сказала Сане шёпотом, с ужасным выражением: «Не накорили?» Что я покатылся со смеху, увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется «закусить перед обедом».

С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тётя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошёл день.

К вечеру, намывшийся и обжеванный, я сидел в столовой, а Саня и тётя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, честное слово! Потом пришёл судья.

Охранник не наврал – старик снял усы. Он помолодел лет на десять, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды.

Он знал, что я вернулся: Саня звонила ему по телефону.

– Ну, блудный сын... – сказал он и обнял меня. – И не боишься, что я тебе голову сниму? Ах ты, прохвост!

Что я мог сказать в своё оправдание? Я только крикнул с раскаянием.

Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из Энска. Точно как судья, он строго спрашивал о всех моих делах – школьных и личных.

Я сказал, что хочу быть лётчиком, и он замолчал, надолго уставясь на меня из-под густых бровей с длинными, жёсткими волосами.

– Военным лётчиком?

– Полярным. А придётся – военным.

Он замолчал.

– Опасное, но замечательное, интересное дело, – сказал он.

Только одного я ему не рассказал: что приехал в Энск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что, если бы не Катя, быть может, ещё немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся бы в родной город, в родной дом.

Глава 13

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Я проснулся оттого, что кто-то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал: «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан, и я понял, что Саня, чтобы не разбудить меня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал. Но неизвестно, сколько времени прошло, и оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не встал.

Словом, я проспал часов до одиннадцати. Саня давно уже была на уроке у своего художника, старик на службе, а тётя Даша успела уже «поставить обед», как она мне сообщила.

За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем.

— Вот как вас кормят! — сказала она с негодованием. — Цыган лучше свою лошадь кормил, и то подохла.

— Тётя Даша, я же вчера объелся! Честное слово, до сих пор живот болит. Тётя Даша, а ведь я вас на старом месте искал. Дома-то снесли?

— Снесли, — сказала тётя Даша и вздохнула.

Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда-то поразил моё воображение, служит теперь капитаном на пароходе «Тургенев», бывший «Нептун». Дядя Миша, староста артели грузчиков, умер в прошлом году, а сын его — председатель городского совета. Я рассказал тёте Даше о Гаере Кулии. Она ахала и ужасалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.